

Тадилъбек
Малахметов

ПЯТЫЙ СОН

(Правда и фантазия)

Часть третья

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ВСТУПЛЕНИЕ

Земная жизнь Макаша завершилась в 1904 году. Это канун двух русских революций – великое историческое время. Как все люди, он существовал во времени и в пространстве. В этом же времени на пространстве казахской земли протекала жизнь и других выдающихся людей. Макаш много путешествовал, по делам бывал в Европе, в Москве, в Петербурге, но головой отвечал за Волжско-Уральское междуречье. Переоценить значение его вклада в жизнь своего народа невозможно, однако все его деяния обогащали мир общечеловеческих ценностей и волнуют духовных наследников, а память о нем постоянно расширяется. Мы расскажем об одной судьбоносной встрече, вспомним его исключительно созидательный строй мысли, живой интерес к мировым проблемам, невероятное интеллектуальное напряжение в изучении языков. Так, например, кроме родственных тюркских языков, он знал русский и три европейских, свободно читал российскую и зарубежную прессу – был, что называется, передовым человеком своего времени. К его характеристике можно отнести и такую подробность, что жил он во времена Абая, Чокана Валиханова и Ибрая Алтынсарина. С одним из них он был хорошо знаком: Ибрай Алтынсарин – его младший современник и друг. Абая Макаш знал по народной молве – стихи Абая не в книгах, а в списках молниеносно распространялись в казахских краях. С Чоканом Валихановым правителю встречаться не довелось, зато ему были хорошо известны статьи в сборниках Русского географического общества. Эти публикации бережно сохранялись в библиотеке Макаша.

В мире все взаимосвязано по законам самой высокой диалектики. В год смерти Абая и Макаша – 1904 – исполнилось 7 лет будущему выдающемуся человеку, предназначенному прославить имя Абая – писателю, ученому Мухтару Омархановичу Ауэзову. Его прямая и косвенная роль в исследовании жизни и творчества титанов казахской культуры огромна и призывает потомков к продолжению великого просветительского подвига... Приступим!

ПЯТЫЙ СОН

1. ПОСЕЩЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА

Астраханский губернатор, генерал-майор Евгений Осипович Янковский проснулся в нагретой полным холеным телом пуховой постели при полном сиянии дня, однако до появления первых посетителей. Надел роскошный бухарский



халат и немедленно потребовал чаю. Закутавшись в халат, одна за одной выпил две больших чашки горького, вяжущего язык и нёбо чая. От подноса на лакированном столике, от любимого казахского печенья-хвороста отмахнулся. На душе было смутно, нехорошо от прошедшей накануне полуофициальной, поистине весьма сытной встречи с правителями улусов Астраханской губернии.

Вчера генерал-майор, прямо сказать, попал в капкан хлебосольства. Объединившиеся улусцы почтительно привезли неслыханные деликатесы, мясные и рыбные. Речи при этом произносились столь восхваляющие редчайшие добродетели губернатора, что отказаться от чего-нибудь означало нанести подносителю смертельное оскорбление. Генеральский желудок пребывал на пределе возможностей, и, слава Аллаху (а кого еще славить за праздничный пир на весь астраханский мир?), привычный к таким пиршествам слуга Сашка своевременно приготовил крепчайший калмыцкий степной напиток из плиточного китайского чая, заправленный курдючным салом и солью.

Это густое красно-желтое зелье с температурой расплавленного свинца, которым впору потчевать грешников в преисподней, и помогло справиться с кумысом, шубатом, французским шампанским и прочими горячительными напитками, приобретенными по ресторанной карте вин из роскошного заведения почтенных астраханских купцов братьев Мантуровых.

К собственной чести, губернатор до самого последнего мгновения держался отменным молодцом, радушным хозяином, ни одного присутствующего не оставил без сдержанно-начальственного внимания, дружеского рукопожатия и даже сердечных объятий. Еще и тем остался доволен досточтимый Евгений Осипович, что сохранил в молчании первостепенную новость, которая, конечно, сильно поразила бы собравшихся со всех концов Прикаспийского пространства. Так никто и не узнал, что эта последняя встреча с провинциальными подданными – прощальный ужин вскладчину. Что положение г-на Янковского «хуже губернаторского», что о главной персоне вечера совершенно точно и безнаказанно можно сказать: «Был губернатор, да весь вышел!»

Зато самому Евгению Осиповичу предстоящие перемены были хорошо известны, что позволяло государственному чиновнику непринужденно сохранять сановную осанку, величественно представлять в азиатском краю власть самодержца российского. О том, кто он такой, губернатор не забывал никогда. Итак, накануне генерал-майор с важным видом щедро раздавал всевозможные обещания, благодарно принимал подарки, милостиво-смирненно кивал в ответ на неумеренно льстивые здравицы. Теперь, к счастью, все правители разъехались по своим улусам, теперь можно забыть о парадном мундире, об утомительной церемонии приема гостей. Можно задуматься о том, что ждет Евгения Осиповича там, куда он отбывает в самом скором времени. Мысли о перемене места службы стремительно опережали события; было очень приятно помнить о новом месте назначения, не обремененном старыми знакомствами.

Ах, все-таки поспешил, поспешил в своей чиновничьей радости губернатор Янковский, уверенный, что можно собирать вещи и готовиться к желанному переезду. Он совершенно забыл, что в пышно-пьяном угаре сладких речей и торжественных тостов пообещал не далее как именно сегодня в домашних присутственных аппаратах встретиться с правителем Волжско-Уральского междуречья, Первого и Второго Приморских округов Макашем Бекмохаммедовым.

Сам Макаш Бекмохаммедович неизменно привлекал Евгения Осиповича неподдельной интеллигентностью, европейскими манерами и обязательностью истинно делового человека. Однако, признаться честно, сейчас, на пороге отбытия

в дальние благословенные края, генерал-майору были абсолютно безразличны замечательные душевные и деловые качества киргиза Бекмохаммедова. Бог с ними, с его прогрессивными нововведениями, с любопытными планами относительно мусульманского законодательства, с подопечными степному гуманисту Макашу Бекмохаммедовичу преступниками киргиз-кайсацкого происхождения. Правда, губернатор принимал на себя обязательство узаконить для коренных жителей Прикаспия свободу передвижения в границах Российской империи. Но что поделаешь, человек предполагает, а бог располагает. Отныне это заботы преемника. Кстати, добро бы эти киргиз-кайсацкие непоседы уезжали в тридевятое царство, в тридешатое государство. Однако, по правде говоря, получившие белый билет, который лет на десять-пятнадцать заменял главный документ империи – паспорт, особенных хлопот Евгению Осиповичу никогда не доставляли. Они безвестно навеки пропадали в огромной степи, исчезали надежнее, чем в знойном и пыльном азиатском раю за границами Российской империи.

Все эти благоприличные рассуждения губернатора-отставника тем не менее не в силах были отменить предстоящую встречу. Как-никак, на восшествии императора Александра Третьего на престол 26 июня 1881 года Евгений Осипович и Макаш Бекмумедович были равноправными участниками высокой церемонии. «Придется сохранять лицо», – произнес вслух Янковский.

– Сашка! – повелительно крикнул Евгений Осипович. – Одеваться! Парадный мундир не нужен, я останусь в присутствии, только лента нужна.

– Как вчерашнее прошло, все ли прибыли? – с осторожной дерзостью баловня передних покоев спросил слуга.

– Наверно, никто не манкировал. Тебе лучше знать, ты же каждого встречал провожал. Подношения все подписаны, загляни, не сочти за труд. С пустыми руками никто ни появился.

На хитроватом Сашкином лице возникла недобрая улыбка:

– Леганский поселок Большедербентского улуса прислал только одну-единственную рыбину. А там промышляют две ватаги, – размеренно преподнес фискальное донесение слуга.

– Нам достаточно. Все подвластные улусы не сразу и вспомнишь. За два года память еле-еле справлялась. А названия! Язык можно сломать: Харахусовский улус, Малодербентский улус, Яндыковский – туда же... Строят бусурманские субурганы, а деньги на строительство пусть православный царь даст. Добро бы на христианский храм просили, а то буддийское святилище им подавай. Никому не указ, что пришла пора православное крещение принимать. А ведь им велено, и отмены царскому постановлению нет.

Сашка сочувствующе кивал головой, подавая Янковскому ординарный мундир.

Губернатор продолжал раздраженно жаловаться:

– Безземельные эсты прошение за прошением подают в министерство. И конезаводу Ростовского конного треста нужна земля. Но с этими просителями хоть по-русски договориться возможно. А наши обитатели улусов на русском языке только про хлеб и воду знают.

Сашка изобразил на физиономии житейскую мудрость: «Ничего не поделаешь – так создан мир. Степной мир».

Евгений Осипович продолжал печально-обреченно сетовать на бесконечные и тягостные губернаторские заботы:

– А источники Шата-Кудуки! Это же вечное яблоко раздора. Как мне помирить жалобщиков? Да и то: как прожить в Прикаспии без пресной воды? Отсюда и вечные

распри и схватки за колодцы; и какие яростные: вот-вот, не дай бог, конечно, дело до смертоубийства дойдет. Ну, Господь милостив, может, все обойдется.

Дежурный чиновник сообщил, что в присутственной приемной губернатора дожидается правитель Волго-Уральского междуречья Макаш Бекмохаммедов.

– Немец, прямой немец! Обещался в 11, и, пожалуйста, точь-в-точь!

Губернатор удовлетворенно посмотрел на серебряные карманные часы, после чего за цепочку аккуратно возвратил драгоценный предмет в небольшой жилетный карман.

– Пройди к посетителю, сообщи, что приду через минуту.

Макаш Бекмохаммедович почтительно привстал на казенном кожаном диване, когда губернатор вошел и приветливо протянул две руки, как и положено по азиатскому обычаю. Этим жестом Янковский выразил свое полное уважение знакомому гостю.

Губернатор и правитель Междуречья расположились друг против друга в креслах перед огромным письменным столом, каждый вполоборота к портрету Александра Третьего. Еще не было произнесено ни одного слова, но по всему чувствовалось – предстояла дружеская беседа.

Янковский радушно поинтересовался:

– Что-то случилось непредвиденное, Макаш Бекмохаммедович? Могу ли чем-то помочь? Рассказывайте без утайки, мы же свои люди.

– Мне стало известно, что Николая Чернышевского из Сибири пересылают к нам в Астрахань.

В любезном поведении губернатора произошла мгновенная перемена: взгляд обрел начальственную строгость. Теперь перед ним сидел не собеседник, а подчиненный.

– Прошу вас, не так громко. Как-никак, речь идет о государственном преступнике, – Янковский раскрытой ладонью показал на портрет императора. Казалось, что и глаза царя посуровели. – Стены, даже официальные, имеют уши. Рассказывайте, что вы еще узнали, кто осмелился сообщить вам, лицу, скажем так, не по принадлежности, важную государственную тайну. Здесь такие меры предосторожности, такая секретность. Кто-нибудь донесет, мы потом все вместе не расхлебаем эту кашу.

– Об этом я прочитал в свободной английской прессе, в «Daily news».

Янковский усмехнулся легкой дерзости правителя: все-таки он ему нравился – симпатичный человек, его признают за своего в любой петербургской гостиной.

– Мой дорогой, скорее всего, это обыкновенная дежурная фальшивка. Тамошние журналисты постоянно сочиняют что-нибудь этакое... горяченькое.

– Нет, Евгений Осипович, издание серьезное, своей незапятнанной репутацией дорожит. Тем более, что в газете помещена всего-навсего одна строчка. Спокойная, никаких лишних эмоций ни в ту, ни в другую сторону. Просто тему не теряют, отслеживают. Ведь государь пообещал, если коронация пройдет без происшествий – нигилисты не испортят обедни, – Чернышевского освободят.

– Напрасные надежды. Это вы хватили лишку. Полицейский надзор остается. Так сказать, на привязи. Пусть скажет спасибо, что не в тюремной камере оставили. Так что свобода – свободой, но в поднадзорных пределах. А с Чернышевским в Астрахани... «не было печали, черти накачали». Здесь такое столпотворение началось: как это все устроить. Нет, чтобы сразу под замок и никаких хлопот. Астрахань – не Вилюйск, это тебе не в глубине империи. Да и батюшка Каспий на что: нырнул в России, вынырнул в Персии. А за казенное жалованье ни одну собаку не соблазнишь присматривать за ссыльным. Опасное дело: не ровен час, пустится в бега наш поднадзорный, ищи-свищи после в море, в поле, в пустыне...

Евгений Осипович спохватился: погнал всю тройку по буеракам, по колдобинам. Так и шею сломать недолго, свалившись под откос.

Огорчившись до невозможности собственной непростительной оплошностью, губернатор отменил задушевность в голосе:

– Кто вам доставил «Daily news»?

– Почта. Я выписываю это приличное английское издание и получаю довольно свежим: читаю его на пятый день после лондонцев.

– Неужели? – изумленно воскликнул губернатор, позабыв о нужной строгости голоса и взгляда.

– Представьте себе! А из обеих российских столиц почта добирается более двух недель. А про Самару и говорить нечего: хорошо, если за месяц доставят.

– На пятые сутки, говорите. Шпионская нация – все-то им известно, обо всем осведомлены. И проворны дальше некуда – британский пострел везде поспел. Скажу вам по секрету: англичане написали в Петербург, чтобы прислать сюда корреспондента прямо к прибытию Чернышевского. Интервью взять желают. А мое желание – отказать решительно, чтобы остальным неповадно было. На английское прошение лучше всего ответить: «Да заберите его в Лондон, Христа ради, – хлопот меньше». А этот политический преступник, чувствую, хитрый лис. Чем он вас заинтересовал, что вам в нем?

Макаш Бекмохаммедов задумался, стоит ли откровенничать с губернатором.

– Николай Гаврилович – известный литератор, человек, по всему видно, незаурядный. Хотелось бы с ним поговорить, узнать, что он думает о жизни, о современной литературе, о философии. Арестанты, ссыльные – люди особенные: много претерпели, немало нужды и горя перенесли.

– Словно в христианском храме проповедь слушаю...

– Я, разумеется, не православный человек, тем не менее Аллах призывает к милосердию, призывает помогать сирым и обездоленным ничуть не меньше, чем Христос. Истинные мусульмане настроены жертвенно. А для меня судьбы несчастных людей – жизненная школа, школа терпения.

– Макаш Бекмохаммедович! Я весь в вашем распоряжении, но жандармерия не в моем распоряжении: ни приказывать, ни контролировать права не имею. Однако... так и быть: поскольку начал открывать вам секрет за секретом, скажу, но для всех это пока наша ведомственная тайна: я расстаюсь с губернаторством, с Астраханью. Через несколько дней начальствовать над губернией станет генерал-лейтенант Петров Николай Иванович. Не только губернатор, но еще и наказной атаман Астраханского казачьего войска. Поким числился, как и положено, ваш покорный слуга.

– Вот как! Жаль, очень жаль, что мы расстаемся...

– Мы – люди подчиненные, начальство велит, а нам только и остается, что «рады стараться». И сейчас время губернаторам вещички собирать. И отслужившему, и вступающему в должность. Что-то долгонько Николай Иванович добирается до губернаторского кабинета. На дворе-то – август. А Петров попросил прислать вознаграждение за июнь. Отправил я коллеге сорок пять рублей.

– Так вот, значит, зачем вы собирали вчера волостных всех астраханских улусов.

– Да, отпраздновал вчера последнее присутствие. Кланяйтесь близким, может, больше и встретиться не суждено.

– Куда же вы теперь?

– Назначили начальником канцелярии управления Варшавским жандармским округом. Согласия не спрашивали, да кто ж не согласится – до Парижа рукой подать.

Если любезного вашему сердцу Чернышевского переведут из Астрахани в Варшаву, милости просим: определяю ссыльно-политического под ваше непосредственное наблюдение и под вашу личную ответственность. Оставайтесь заступником униженных и оскорбленных.

Макаш Бекмохаммедович и Евгений Осипович несколько мгновений раздумывали, не обняться ли им прощально дружески, и все же ограничились коротким и вежливым рукопожатием.

Правитель от губернатора направился в Астраханское жандармское управление. Проехав с полверсты, попросил кучера остановиться: спешка в задуманном деликатном предприятии может только повредить. Ясно, что ссыльный писатель пока еще в пути. Неопределенность губернаторских речей свидетельствовала, что Чернышевского нет в Астрахани. Одним словом, непонятно, темно, и никакой ясности. Если сохранится надзор строгого сибирского образца, хорошей задумке Макаша сбыться не суждено. Но зачем же открываться раньше времени? Бесмысленно. Делу не поможешь, только помешаешь. И седок требовательно коснулся плеча кучера:

– Поворачивай, возвращаемся в Ганюшкино!

2. ПЕРЕПОЛОХ В ЖАНДАРМСКОМ УПРАВЛЕНИИ

Все смешалось в Астраханском жандармском управлении: вот-вот в губернский город имеет прибыть собственной персоной государственный преступник. Предварительный документ, поступивший в губернаторскую канцелярию, когда только-только разгоралось жаркое прикаспийское лето 1883 года, прямо и недвусмысленно сообщал о перемене места ссылки известного петербургского литератора. Пришлось завести дело «Об учреждении надзора за государственным преступником Николаем Чернышевским».

Начальника Астраханского губернского жандармского управления старого служаку Головина хлебом не корми, дай только проявить служебное рвение. За подписью ревностного начальника к губернатору поступает секретное письмо.

«Ввиду особой важности самой личности Чернышевского, его популярности среди злоумышленников, которыми неоднократно делались попытки к его освобождению, а также возможности появления в г. Астрахани, по приезде Чернышевского, лиц, политически неблагонадежных, директор департамента полиции просит меня принять меры к установлению, по соглашению с Вашим превосходительством, самого бдительного негласного наблюдения за всеми сношениями и вообще образом жизни Чернышевского».

Первым астраханским приютом Чернышевского стала гостиница Смирнова на Площади городских весов. Сюда Николай Гаврилович приехал до полудня. Вечером, совершив нелегкое путешествие из Саратова, в гостинице появилась Ольга Сократовна. Николай Гаврилович встречал жену на волжской пристани. Воссоединившаяся русская семья оставалась здесь три дня.

Для России приезд Чернышевского в Астрахань не остался тайной. О нем можно было прочитать в московском нелегальном студенческом журнале «Союз».

В жандармском управлении изготовили более двадцати фотографических карточек, запечатлевших «государственного преступника». Работу жандармского фотографа распространили среди полицейских чинов как в Астрахани, так и в уездах. Особенная надежда была на вездесущих филеров: они, незаметные в любой городской толпе, среди мастерового и торгового люда, среди покупателей на базарных площадях, цепко присматривались к каждому прохожему, каждого

запоминали и без натуги могли составить точный словесный портрет любого, кто попадался им на глаза.

Когда грубиян в погонах Головин объяснял сыщикам насущные задачи наружного наблюдения, приказывая обратить особое внимание на Чернышевского и проследить за каждым, с кем этот враг царя и государства встретится и с кем заговорит: «Чтобы мышь не прошмыгнула, ребята!» – они успокаивали строгое начальство, которое никому, даже за самую малую провинность, за самое необходимое упущение не давало спуска, дополняя словесное объяснение крепким словом и еще более крепкой кулачной угрозой: «Не извольте беспокоиться, ваше высокопревосходительство! Не то что мышь, комар не проскользнет!»

Можно сказать, что перемена климата нисколько не сказалась на жандармском режиме, в котором, пусть и освободившись от кандалов, предстояло пребывать Чернышевскому.

А для непосредственного полицейского надзора предназначили трех человек. Старший верноподданный полицейский чин (назовем его Иван Семенов) – из тех, кому поручили негласное наблюдение за повседневной жизнью Чернышевского, за его встречами и знакомствами, – старался, чтобы надзор не столь заметно бросался в глаза, иногда неловко, как бы в тяжелых сапогах, вступал с писателем в глубокомысленные беседы, что не мешало ему писать обязательные подробные многостраничные отчеты о каждом посетителе Николая Гавриловича. Стараясь добыть дополнительные сведения, он особо не препятствовал приезду к недавнему каторжнику единомышленников и просто родственников из Петербурга и Москвы, с Волги. И расспрашивал, расспрашивал, утомительно уточнял имена, даты, события. Со сноровкой опытного канцеляриста следователь по обязанности и добровольному старанию составлял криминальное досье на поднадзорного.

Разумеется, Чернышевский не обманывался: с еле скрываемой неприязнью он смотрел на хитроумные старания ветерана полицейского сыска во что бы то ни стало втереться в доверие, прикинуться сочувствующим, смотрел, не подавая вида, что ему, старому каторжнику, внятны крохотные и побольше размером подлые ловушки и силки. Провокаторами кишмя кишели и российская провинция, и имперские столицы. Заговаривал ли полицейский Иван о семье Николая Гавриловича, о жене, о сыновьях, об университетских товарищах, о Некрасове и Герцене, о любимых книгах, предлагал ли Семенов нечто нелегальное из секретных жандармских запасов, Чернышевский неизменно отделялся лаконичными обтекаемыми отговорками. Никакого добра от этого малограмотного и зверски жестокого полицейского племени Николай Гаврилович не ждал, а сопротивляться плетению коварных жандармских сетей помогали пылающие презрительным гневом строки демократического поэта Курочкина: «Тише, тише, господа! Господин Искарриотов, патриот из патриотов, Приближается сюда!».

Несмотря на пристрастное наблюдение – полицейские во главе с бессечно неутомимым Семеновым непрерывно, днем и ночью не спускали глаз с Чернышевского, что обеспечивалось многократным прибавлением к прежней смете добавочных финансовых поступлений, – в Астрахани стремительно составил дружеский круг прогрессивных мыслителей из числа таких же поднадзорных людей, как и сам Николай Гаврилович. А появление на нижеволжском берегу знаменитого писателя, гонимого официальной властью, очень скоро перестало быть секретом.

Первым человеком, радостно встретившим опального Чернышевского в провинциальной Астрахани, оказался товарищ по несчастью, поднадзорный по «казанскому заговору» 1863 года доктор Н. М. Никольский. Он не страшился преследований со стороны властей, не осторожничал ни в словах, ни в поступ-

ках. Он никого и ничего не боялся. О смелости, о пренебрежении благородного врача к жандармам можно прочесть в любопытном архивном документе 1884 года – секретной характеристике доктора Никольского. Автор документа – полицмейстер Инковский.

«...Вращается преимущественно среди лиц, состоящих под надзором полиции по политическим делам и, видимо, сочувствует им. Так, он лечит всех означенных лиц, присутствует при отъезде каждого из тех, которым оканчивается срок надзора а по приезде в Астрахань государственного преступника Чернышевского, встретив его на лестнице в гостинице Смирнова, с видимой радостью бросился к нему в объятия, целовал и высказывал удовольствие по случаю возвращения из Сибири и прибытия в Астрахань».

Н. М. Никольский как домашний врач постоянно поддерживал доброе знакомство с Николаем Гавриловичем и Ольгой Сократовной. Посещали гостеприимный дом Чернышевских и прочие временные астраханцы. Слежка не пропускала никого: все посетители попадали в агентурные сведения. К примеру, Петр Алексеевич Алеев, кассир Астраханского общества взаимного кредита. В столицу русского Каспия Алеева сослали как участника «казанского заговора» 1863 года.

В другой отчет о слежке, «Книгу астраханского полицмейстера», попал земляк Чернышевского – помощник ревизора Астраханской контрольной палаты А. И. Виддинов, окончивший духовную семинарию, приказчик саратовского книжного магазина. Пострадал Виддинов потому, что хранил в помещении магазина книгу «История одного французского крестьянина». Точнее, еще не книгу, а отпечатанные в Москве, в нелегальной типографии, листы. Виддинов – фигурант «Дела 193-х».

И Алееву, и Виддинову было что рассказать Чернышевскому о своей противоправительственной деятельности.

Первую астраханскую зиму 1883–1884 годов, с 1 декабря по 1 марта, Чернышевские прожили в просторном доме на улице Почтовой. Здесь Николай Гаврилович и Ольга Сократовна принимали новых знакомых, здесь обсуждались последние российские и заграничные новости, строились всевозможные прогнозы, составлялись характеристики, порой весьма злые, но, как правило, точные, политических деятелей, писателей и журналистов, промышленников. Не забывали и тех, с кем, к несчастью, свела судьба ссыльного. Этих «полоскали» с особенным сатирическим тщанием.

Однако круг посетителей дома Чернышевских отличался предельной малочисленностью. Над небольшим обеденным столом, над скромной, студенческого образца, вечерней трапезой грозно реяла тень конспиративного застолья. Вот почему в жандармские отчеты, кроме упоминания о том, кто и когда собирался у Чернышевского, ничего недозволенного не просочилось.

Именно сюда, опередив всех журналистов, добрался Роберт Лонгстайн, корреспондент лондонской газеты «Daily news» с классической внешностью персонажа из «Посмертных записок Пиквикского клуба». Этот веселый роман Диккенса о неунывающем толстяке мистере Пиквике совсем недавно размашисто перевел замечательно талантливый Иринарх Введенский, непрошенный соавтор английского писателя, за которого сочинял целыми страницами.

Вышеозначенный Роберт, на красновато-буром лице которого еще темнел колониальный индийский загар, появился у Чернышевских как раз в ту минуту, когда между присутствующими разгорелся непримиримый спор о правдоподобности кончины Евгения Базарова, которого Иван Сергеевич Тургенев отправил на тот свет посредством заражения крови от патологоанатомической промашки.

Визит настойчивого гостя в роскошной меховой шубе (немного жарковато для южной Астрахани, но ведь человек ехал в страну медведей) кладет конец пылкой схватке мнений, и нового гостя усаживают за стол. После краткого обмена приветственными любезностями разговор как начался, так и продолжается на английском языке, причем не сразу можно определить, кто свободнее владеет наречием присутствующего здесь и сейчас сына Альбиона.

Когда за корреспондентом Робертом закрылась дверь, когда вновь поставили на стол небольшой медный самовар, украшенный заслуженным медальным выставочным иконостасом, Ольга Сократовна упрекнула мужа:

– Коля, что так сухо и неласково? Человек столько дней по морозу добирался в Астрахань, чтобы с тобой поговорить, на своей шкуре испытал, что такое российские дороги...

– Ну, по зимнику не так, чтобы уж очень некомфортно...

– Перестань. Ты не прав, Николай Гаврилович. Мог бы и откровеннее быть, и любезнее.

– А ты, добрая Оля, обратила внимание, ослепленная, действительно, подвигом храброго Роберта, как настойчиво он навязывал мне то, что должно составить содержание его газетного отчета. Примерял, как прикидывают пиджак на портновском манекене. Несколько раз называл меня «русским политическим пленником». Наверное, так и статью назовет. Надзор, как за Железной Маской из времен благословенного Людовика Четырнадцатого, нашему Лонгстайну показался неназойливым.

– Не суди так строго, не разобрался, не постиг...

– А не странно ли, что в Астрахани не больше полдюжины людей знают о том, где я живу, зато иноземный журналист топает по улице Почтовой, как по компасу, причем не плутает, не ошибается ни воротами, ни дверью. Я так думаю, Оля, что исполнительный Роберт, как истинный журналист, не пренебрег сенсацией. Но, кроме того... Ты заметила, что он сказал: ему сделали предложение. Можно догадаться, какое именно и кто именно. Чтобы независимый иностранец пел осанну русскому царю-батюшке, своей монаршей милостью вызволившему государственного преступника из ледяного сибирского плена. Чтобы сообщил всему миру, что самонадеянный вольнодумец раскаялся, сжег все, чему поклонялся, и ныне припадает к царственным стопам с покорнейшей просьбой о всемилостивейшем прощении. Наберись терпения, мы скоро познакомимся с плодами вдохновения золотого британского пера...

3. «ПТИЦА» ВЫЛЕТЕЛА В «DAILY NEWS»

И все-таки статью Роберта Лонгстайна раньше Чернышевского прочитал Макаш Бекмохаммедов, которого неотложные дела привели в Петербург. Правитель Волго-Уральского междуречья, вдоволь набродившись по стылым полутемным декабрьским столичным проспектам, отправился в Имперскую публичную библиотеку, что рядом с огромным памятником Екатерине Второй – прапрабабушке ныне царствующего самодержца.

Совсем скоро Макаш Бекмохаммедович сидел за просторным библиотечным столом и читал свежий номер лондонской газеты, переводя с листа английский текст. Солидный том англо-русского словаря в черном переплете с кроваво-красными полосами читатель держал под рукой. Немного мешал резкий запах типографской краски и слегка сырого газетного листа, но довольно быстро он перестал замечать и запахи, и тусклое освещение, и соседей по читальному залу.

Корреспондент действовал золотым пером решительно и с непоколебимой уверенностью. «Тайны Чернышевского более не существует. Мне довелось видеть гонимого человека, разговаривать с ним. Сначала я пришел в полное изумление. Мне думалось, что встречу ослабленного лишениями и каторжным режимом согбенного страдальца. Ничего подобного: меня приветствовал широкоплечий, с прямой спиной, быстрый в движениях, почти что атлетического сложения человек. Конечно, ему не дашь паспортных пятидесяти пяти лет. Десятью годами меньше скорее всего».

Макаш Бекмохаммедович сложил «Daily news» и отодвинул газету на край стола. Чистая поверхность лакированного, темно-коричневого стола позволяла размышлять сосредоточенно, не отвлекаться. Додумав свои впечатления от статьи, Макаш вернулся к газете и перечитал статью еще раз, обнаружив новые смыслы между строчками.

«Русский политический пленник»

Признаюсь, я был достаточно осведомлен о строжайшем, хотя вовсе не назойливом, полицейском надзоре за г-ном Чернышевским. После того как мы встретились, можно считать тайну русского политического пленника окончательно рассеянной. Я видел его воочию, беседовал с ним, выслушал историю Чернышевского из его собственных уст. Он провел на каторге и в ссылке девятнадцать с лишним лет. Мое первое впечатление – изумление. Вместо расслабленного ссыльного предо мной стоял прямой, широкоплечий, крепко сложенный и подвижный человек, с виду на десять лет моложе своего пятидесятипятилетнего возраста. Немного позже мне стало понятно, что первое впечатление не совсем верно. Здоров и крепок Чернышевский не может быть. Он держит себя необыкновенно беспокойно.

Между нами состоялся примечательный диалог.

Я спросил Чернышевского, была ли действительно каторга. «Ну, какая каторга – формальная каторга!» – «Пришлось ли вам носить кандалы?» – «Всего несколько дней, и то по недоразумению». – «А как обращались с вами агенты правительства?» – «Да так, со всем тем уважением, какого всякий может пожелать». – «Показалась ли вам утомительной дорога в Астрахань?» – «Нисколько. Почтовая телега оказалась весьма удобным видом транспорта».

Чернышевский уверял меня, что свершившаяся перемена есть акт императорской милости. Можно считать, что писателя, искупившего долгим изгнанием свои журнальные статьи, проповедь резкого социализма, вообще все, что он совершил в молодости, скоро перестанут считать опасным для внутреннего спокойствия Российской истории.

Сама же Астрахань – заботливо устроенный госпиталь для политических ссыльных. Сюда они переводятся из северных губерний, а также из других мест империи в целях поправления здоровья».

Корреспондента интересовал главным образом выигрышный материал для газеты. Самым важным ему представлялось, что вот он первым поведает европейским читателям о личном свидании со знаменитым русским революционером, вернувшимся из сибирского заточения. Беседуя с ним, Чернышевский, разумеется, держался в высшей степени осторожно, не забывая, что каждое лишнее слово может навредить ему.

Фальшь Макаш, конечно, распознал. Ни на минуту он не поверил раскаянию и радости арестанта от тюрьмы и ссылки.

Ничего другого о Чернышевском не нашлось в русских газетах. Одна нелегальная студенческая сообщила о прибытии Чернышевского в Астрахань. Корреспондент «Daily news» явно выполнял некое задание закрыть информацию и никому не дать что-либо оспорить. Впрочем, Макашу пришлось читать эту статью неоднократно в русских газетах в переводе. С Чернышевским хотелось встретиться немедленно. Но далее встреча еще несколько раз будет им отложена. Он хотел уговорить шефа жандармов – выдать ему под честное слово ссыльного, уже освоившегося на новом месте, а главное, в сезон, когда не задувают морозные ветры и не приостанавливается навигация. Ему хотелось показать свою родину с самой выигрышной стороны, хотя любил он ее и не променял бы ни при какой погоде.

4. МАКАШ И ШВАНЕНЗАНГ

Астраханский февраль местные жители неизменно называют жестоким месяцем: дня не проходит, чтобы Каспийское море не испытывало сушу штормами и ливнями. Правда, бывалые люди снисходительно посмеивались, приговаривая: «Каспийские бури против черноморских все равно, что ветерок против урагана».

Астраханцев эти насмешки мало трогали; они предпочитали сравнивать штормы Каспия и прочие экстремальные погодные события, сидя в Дворянском собрании за чашкой турецкого кофе, приготовленного славным Керимом, подданным империи, но вот какой – Российской или Османской, оставалось неизвестным.

Макаш Бекмохаммедов, заглянувший в Собрание на исходе февраля 1884 года, тотчас заказал подоспевшему Кериму традиционную чашку крепчайшего напитка. Кофе появился вместе с кувшином ледяной воды.

Поставив заказ на стол, Керим укоризненно заметил:

– Давно не заходили. Нашли лучше?

Действительно, Макашу не удавалось часто бывать в ресторане Дворянского собрания.

– Нет, конечно, Керим. Дел много, но вскоре и сам буду приходить, и еще одного любителя кофе приведу.

Беседу пришлось прервать, потому что с дальнего стола Макаша приветствовал хорошо известный в городе врач-психиатр Модест Матвеевич Шванензанг. Сначала врач просто поднял указательный палец, чтобы обратить на себя внимание вошедшего, после чего стал призывно загребать правой ладонью, приглашая Макаша Бекмохаммедовича присоединиться к нему.

Макаша слегка удивило, что любезный доктор, который на астраханской службе стал похож на матерого каспийского тюленя, сидит один на один с чашкой кофе. Подходя к столу, Макаш вновь убедился в несомненной правоте не в меру осведомленных пациентов Модеста Матвеевича, убеждавших и его, и кого только угодно, что он и его 68-летний сверстник, германский канцлер Отто фон Бисмарк словно рождены одной матерью и в один и тот же час.

Обычно стоило только Шванензангу появиться в Дворянском собрании или в другом публичном месте, как врача тотчас окружали любопытствующие, считавшие непрямым долгом обговорить проблемы и перспективы Тройственного союза (Австрия, Германия, Италия), запрета социал-демократических объединений в немецком государстве. Но пытливые собеседники, как правило, недолго оставались серьезными и начинали предлагать доктору запретить опасный социализм в «Астраханской империи», коли Модест Матвеевич не имеет власти во всей Российской. Такие мелкие насмешки ничуть не беспокоили Шванензанга, человека с отменным чувством юмора, широко мыслящего и здравого.

Дворянское собрание сейчас можно было бы назвать деловым собранием: здесь в одном углу, коротая ожидание нужного человека, неазартно играли в карты; кого-то больше, чем дела в Тройственном союзе, волнует современное положение в России; представители купечества также допущены в Собрание, и торговые разговоры о сделках, платежах и задолженностях свободно ведутся в сословном «святая святых».

Макаш и Шванензанг, как старые знакомые, неторопливо обменивались обязательными вопросами и лаконичными ответами о семье, о потомстве, о том, как идут дела, чем каждый занят. К счастью, свободному разговору помогало то, что Макашу не пришлось попасть в пациенты к добродушному двойнику Бисмарка, практиковавшему все больше в должности тюремного врача или судебного медика; благотворительные приюты и богадельни также были закреплены за исполнительным доктором.

– Вы выглядите немного утомленным, дорогой Модест Матвеевич. Погода подействовала или пациенты замучили?

Шванензанг на несколько мгновений задумался. Понятие врачебной тайны для него, как для выпускника Московского медицинского института, ветерана турецкостанских сражений, всегда оставалось незыблемым, и с человеком посторонним доктор не стал бы откровенничать. Однако давний знакомец, милейший Макаш Бекмохаммедович – иная статья. Ему доктор доверял абсолютно; к тому же, чисто городские дела правителя Волго-Уральского междуречья волновали меньше всего.

– Да ни то, ни другое. К слову, у меня появились интереснейшие пациенты. Доктор Никольский обратился ко мне, как к коллеге. Правда, думаю, что он более всего имел в виду мою арестантско-ссылную практику. Просил посетить Чернышевского.

– Николай Гаврилович сейчас помилован...

– Возможно. Как-то это для меня не столь важно: милосердие и политические убеждения, знаете, разные вещи.

– Каково ваше впечатление от пациента под надзором?

– Мне показалось, что не я пользовал Николая Гавриловича, а он меня. Он, само собой, вовсе не нуждался в моей консультации. Его познания в психологии (о психиатрии и речи нет) достаточно обширны. Моя скромная помощь, скорее, нужна была Ольге Сократовне, даме приятной, духовно совершенно здоровой, и все же излишне... Нервы, как говорится, пошаливают.

«А у кого бы они не пошаливали, – подумал Макаш Бекмохаммедович. – Одни многоверстные поездки к ссылному мужу, которого и в кандалы заковывали, чего стоят».

– Впрочем, Ольга Сократовна меня очаровала: она – образованный человек. Правда, мы все больше на житейские темы толковали, семейными подробностями обменивались. Про болезни – мельком, попутно. Рекомендовал побольше бывать на свежем воздухе, в чтении, тем более в письме особенно не напрягаться, острых разговоров и волнений избегать, утром и вечером пить настойку брома. Эту все-спасительную настойку с легким сердцем назначает хоть столичный врач, хоть земский лекарь.

– Вы надолго задержались у четы Чернышевских?

– В должности врача-психиатра ненадолго, а как добрый гость, для которого и самовар поставили, просидел целый вечер. Да и без врачебного повода несколько раз навещал: мне нравятся задушевность, простые, равноправные, доброжелательные семейные отношения... Удивительно, как человек, столько испытывший и переживший, умеет согреть тебя ласковым словом, вытащить из плохого настроения...

– Недавно мне довелось познакомиться с другим портретом нашего общего друга. Противоречивым, кстати сказать, изображением. О Чернышевском написал британский журналист. Он уверял читателей, что Николай Гаврилович – атлетическая натура, отменный здоровяк, а через несколько строк, позабыв о только что сказанном, замечал: «держится с необыкновенным беспокойством».

Макаш вопросительно посмотрел на собеседника, попросившего принести ему еще чашечку. Второй участник разговора от кофе отказался.

– Разве можно здесь свести концы с концами? Не очень-то совмещается.

– Почти совмещается, – Шванензанг подержал в правой руке опорожненную кофейную чашку, словно раздумывая, не присоединить ли к первым двум и третью. Потом отставил: надо и о сердце подумать. – В корреспондентской заметке верно и то, и другое. Сложность положения вот в чем. Чернышевского, как всегда с ним поступали, вырвали из привычной обстановки. Он же притерпелся ко всему каторжному, и вот грубая перемена. Конечно, психика покачнулась, тем более, что творческий человек... И тем не менее никакого душевного угнетения, наоборот, состояние чувственного подъема... Мы встречались в новогодние дни (жаль, что вас не было, Макаш Бекмохаммедович), спокойствия, уверенности заметно прибавилось. Так что, Николай Гаврилович (это цельный, сильный характер) выдержит и астраханский поворот судьбы. Отдохнуть бы ему, отстраниться от тяжелого прошлого. Справится... Тем более с Ольгой Сократовной. Они вместе выбирают к свету.

– Справится, конечно, – подхватил тему отдыха и освобождения от тягостного прошлого Макаш. – Я как раз хочу предложить Николаю Гавриловичу приехать ко мне, в Ганюшкино. Там новых впечатлений наберется вдоволь, Да и вы загляните по случаю – будем рады.

– Зима-то в полной силе пока, – но за приглашение спасибо. Непременно воспользуюсь.

– Погода и вправду неподходящая, вот мы сейчас спасаемся в теплом ресторанном помещении, но летом обязательно заберу Николая Гавриловича к себе: степь и море подействуют умиротворенно: это – ваши помощники.

– Я и не сомневаюсь. И вообще прошу принять меня в посредники. Николай Гаврилович – человек простой, но, боюсь, не будучи коротко знаком, не получил основательную рекомендацию, скорее всего, поостережется. Я готов стать посланником и защитником доброго дела, и при первой okazji постараюсь выяснить, как смотрит поднадзорный человек на временный побег из Астрахани. Постараюсь убедить Чернышевского, что морские прогулки – процедура, укрепляющая легкие, предупреждающая зимние простуды.

– Меня несколько тревожит посещение Головина с моей просьбой об отпуске для Чернышевского. Начальник жандармского управления... Он головой отвечает за поднадзорного.

– Будем убеждать. Я пойду вместе с вами, надены азиатские медали «За Хивинский поход», «За покорение ханства Кокандского». Жаль, что не участвовал в штурме крепости Геок-Тепе, получил бы не бронзовую медаль, а серебряную. Очень желал познакомиться с одним из храбрейших генералов-туркестанцев Михаилом Дмитриевичем Скобелевым. Не суждено.

– Надо ли жалеть, Модест Матвеевич? Вы же хорошо знаете, что при взятии Геок-Тепе погибла четверть русского воинского корпуса.

– Да, голова военного медика Шванензанга осталась у него на плечах. Впрочем, вернемся к нашим заботам относительно Чернышевского. Ваши награды также должны быть у вас на груди. Думаю, с Арсением Григорьевичем дотолкуемся до положительного решения. Он меня уважает, да и к вам относится с должным по-

чтением. Всегда напоминает, какими орденами вы награждены. Совместно заявимся и выпросим Чернышевского. Будьте спокойны.

Дни сменяли ночи, неделя проходила за неделей, началась влажная каспийская весна, ее сменила легкая по первой поре жара, предвещавшая вскоре знойную вершину лета – июль. Этот срединный месяц по-казахски так и назывался «зной». А Макашу хотелось показать Чернышевскому весеннюю степь с верблюдцами, к шерстистым бокам которых нежно и смешно прижимаются милые малыши-верблюжата. Радость глазу и оживающие степные пространства с цветущей верблюжьей колючкой.

Ах, не пропустить бы весенний праздник природы! Макаша заботила краткосрочность этого праздника, и он два-три раза нарочно приезжал в Астрахань, чтобы захватить доктора Шванензанга и вместе с ним поехать к Головину. Однажды Модест Матвеевич даже оставил правителю записку, в которой писал, что ему пришлось срочно уехать к тяжелобольному рыбаку, и назвал день, когда он вероятнее всего сможет вместе с доброхотом Макашем отправиться к главному жандарму края.

Коляска правителя подъехала к крыльцу жандармского управления точно в обозначенный день и час. Тем не менее опередить врача не удалось. Он с улыбкой небидного небольшого превосходства встретил и дружески обнял Макаша Бекмохаммедовича. Оба немного смутились, поскольку не столько смотрели друг другу в лицо, сколько разглядывали ордена и медали на груди у каждого.

– Что ж, – весьма удовлетворенно произнес Шванензанг, одетый по необходимости в мундир военного медика. – Три «Станислава», и «Анна», и «Владимир»... Хорошо. Рыцари добра и света в полном боевом облачении. Полагаю, что Арсений Григорьевич не сможет отклонить нашу просьбу: дело-то благое. Пойдемте к нему.

Заметив в дверях Макаша Бекмохаммедова, полковник Головин, мужчина средних лет и мужественной наружности, быстро пошел навстречу, поздоровался подчеркнуто почтительно. С доктором они обменялись короткими, нецеремониальными поклонами, как совершенно свои люди.

Еще до того, как оба ходатая за Чернышевского переступили порог кабинета Головина, они приняли решение доверить рассказ об общей просьбе Макашу.

Не перебивая, не переспрашивая, только призвав присутствовать начальника канцелярии, Головин, нахмурившись, выслушал просьбу о пятидневном отпуске.

– Думаю, что могу рискнуть, – как бы нехотя соглашаясь, ответил Головин. – Теперь вот как. Пусть господин Чернышевский напишет на мое имя прошение с подробным объяснением, почему ему так необходим этот отпуск.

– Арсений Григорьевич, – настойчиво возражал Шванензанг, – зачем лишний раз подчеркивать, что Николай Гаврилович – несвободный человек. Мы с Макашем Бекмохаммедовичем уверенно обещаем, что день в день он вернется в Астрахань.

– Под наше честное слово, – твердо прибавил Макаш.

– Слово словом, господа, однако формальности все-таки соблюсти надо. Поступим таким образом: Макаш Бекмохаммедов своей подписью подтвердит, что на пять дней приглашает Чернышевского, и ваш покорный слуга сдаст поднадзорного с рук на руки.

– Чернышевскому об этой бюрократической процедуре знать вовсе не обязательно. Без него обойдемся, – поторопился поскорее закончить опасно затянувшуюся аудиенцию Шванензанг.

– А вам, доктор, предлагаю присовокупить к прошению господина Бекмохаммедова личное ваше поручительство. И с Богом, господа!

5. ПЕРВЫЙ ДЕНЬ

Конечно, дорожная коляска, даже покрытая против дождя и солнца новеньким черным тентом, даже оснащенная прочными рессорами, чтобы покоее сиделось или, может быть, спалось путешественникам – далеко не лучшее место для разговора в начале знакомства. Собеседники начинали говорить вперебой, оставались, уступая интеллектуальное поле, деликатно перебивали друг друга поправляли, уточняли, осторожно шли по тематическому кругу.

При первом знакомстве Макаш представился как Мухамеджан Шолтырович Бекмохаммедов. Уточнил: «Это для официальных документов – по российской букве закона. В Астрахани все называют меня Макаш Бекмохаммедович по родовой принадлежности – происхождению коренного рода биев. Такая у нас субординация чингизиды – ханы. Потом – султаны. Потом – бии – судьи. У каждого есть, кроме назначенного, административного, родовое предназначение. Так что я для вас Макаш Бекмохаммедович.

Время от времени Чернышевский бросал на Макаша взгляд секундной продолжительности, присматриваясь к незнакомцу, пожелавшему предоставить недавнему ссыльному поднадзорные каникулы:

– Макаш Бекмохаммедович, наслаждаюсь терпким степным воздухом. Этот чудесный травяной настой...

– Его нарочно приготовили для вас, Николай Гаврилович, это – воздух свободы.

– Благодарю, благодарю вас. Астрахань, конечно, не каторжный Виллойск, тем не менее двойной надзор приятной опекой не назовешь. Нелегкое это испытание. Впрочем, вашему покорному слуге к этому не привыкать. Даже простая, столь обычная для вас дежурная поездка из губернского города в вашу резиденцию, для меня все равно что пребывание на курорте, в каком-нибудь, знаете, Баден-Бадене или Ницце.

Дорога вообще сближает людей даже самого краткого знакомства, а Макаш и Чернышевский чувствовали душевную близость, еще ни разу не встретившись, не поглядев в глаза друг другу.

Позабывшись о том, чтобы дорогой гость отдохнул с дороги, освежился родниковой водой, Макаш пригласил Николая Гавриловича за обеденный стол.

Недавнему каторжнику, долгие годы вкушавшему скудную полутюремную пищу, предложили вдосталь насладиться щедро составленным степным меню, в котором чередовались казахские, русские и заграничные блюда, – не удалось даже испробовать всего. Равно и напитки, предоставленные в распоряжение гостя, имели разное географически-гастрономическое происхождение, включая белокипенный с золотыми блестками жира кумыс.

– Николай Гаврилович, здесь вы в совершенно дружеской, безопасной среде. Разрешите спросить напрямик: не собираетесь ли осчастливить ваших поклонников продолжением романа «Что делать»? Ведь вы столько пережили за последние годы, ваш горестный опыт не должен остаться, простите за приподнятость тона в нашей беседе, в вашей измученной душе. Скажу о себе, как об одном из ваших пристрастных читателей. Для меня «Что делать?» – некий пролог...

Чернышевский одобрительно усмехнулся:

– Вы – нечаянный прозорливец, Макаш Бекмохаммедович. Я как раз работаю над произведением, продолжающим «Что делать?», правда, не в смысле того, что сохранены персонажи моего тюремного романа. Кстати, название каторжной прозы именно «Пролог».

– Вот видите. Но, как вы сейчас узнаете, моя догадка – не вслепую. Я давний поклонник ваших литературных занятий, немало знаю о вашей многотрудной жизни. Это в Москве и Петербурге за чтение «Колокола» и подобных изданий волокут в тюрьму, а то и в места не столь отдаленные. А в наших краях, не то чтобы богом позабытых... У меня почти весь «Колокол» собран. Пройдемте в библиотеку, покажу свои сокровища.

Библиотека пришлась Николаю Гавриловичу по душе. Просторная комната стены обшиты светло-желтыми деревянными панелями. Книжные полки, широкий стол и два-три стула, выструганные до полной гладкости, как и весь большой деревянный дом, каждое мгновение напоминали о непритязательной любви хозяина к простым вещам, к аскетизму. Вот только роскошная оттоманка, словно попавшая сюда из каких-нибудь султанских покоев, была «не из той оперы». Соблазнительно прислонились к стене под окном, театрально освещенные полдненным солнцем две разноцветные ковровые подушки. Чернышевский почувствовал, что он, всегда непритязательный и к уютным прелестям довольно-таки равнодушный, обретет здесь место для чтения до полного изнеможения и для глубокого, длительного, законно заслуженного сна. И для сновидений...

Само книжное собрание во глубине астраханских степей, разумеется, не могло не вызвать интереса у человека, столько лет отдавшего литературе и писательскому труду. На некрашеных полках нашлись российские издания разных лет, разного содержания. Это были исторические исследования, сборники Русского императорского географического общества, справочники и словари, некоторые тома на немецком и английском языках, знакомых Чернышевскому. Он с любопытством просматривал иноземные печатные редкости, бог весть какими ветрами занесенные «в сторону южную».

К Николаю Гавриловичу подошел хозяин дома, снял несколько книг с полки:

– Все же на виду не держим... Не стоит дразнить гусей, зачем нам лишние заботы и хлопоты. Вот, пожалуйста, в пристенном ряду запретный «Колокол». Прикрываю благоприличными предметами для спокойствия возможных наблюдателей с секретным предписанием. Правда, мои сослуживцы к чтению равнодушны, а службе сыска так и вообще нечего здесь делать.

– Да-да, вы говорили... О, переплетенный и за пять лет?! И годы-то какие: пореформенные – 1862–1867. Знаменательное время, непростое. Его еще не раз вспомнят во времена тихие, спокойные. Если они наступят.

Хозяин промолчал: судьба «отпускника», само собой, не забывшего каторжные норы Виллюйска, не позволяла питать особо радужные надежды.

– Что я вижу! – в изумлении воскликнул гость, которого покинул экскурсионный холодок. – Неужели и «Что делать?» имеется в вашем собрании? – Чернышевский держал в руках четыре журнальных книжки «Современника». – Мой роман, словно чумные одежды и жилища, в 1863 году отовсюду изымали и поспешно сжигали. Так сказать, средневековое аутодафе в цивилизованном государстве: казнь огнем свободной мысли. Но, оказалось, есть и уцелевшие экземпляры. Мужественный вы человек, Макаш Бекмохаммедович.

– Не преувеличивайте, Николай Гаврилович, не столь велик мой читательский подвиг. Библиотека в вашем распоряжении, смотрите, читайте, выбирайте любую в полную собственность. Пока же оставляю вас одного: читайте, отдыхайте. К ужину вас приглашу.

Чернышевский, автор русского романа, вышедшего в России, на родине автора, как раз не видел ни одного журнального номера с «Что делать?». О переводных изданиях знал, но вот держать в руках «первенца» до сей поры не пришлось.

Но большой радости встреча с собственным первоизданным произведением не принесла. Развернув «Современник», Чернышевский тотчас убедился, что корректорская рука почти не касалась журнального текста. Каждая страница была густо засеяна грубыми опечатками, авторскими и редакторскими ошибками, вполне исправимыми, коли хотя бы один раз внимательно прочитать напечатанное. В смущении и досаде огорченный романист пожалел, что на полке нет третьего ряда, вообще недоступного никому.

И Николай Гаврилович взялся за другую книжку, сброшюрованный «Колокол» осьмушку стандартного писчего листа. Порадовался, что изобретательный и терпеливый читатель собрал по несколько номеров и получились книжицы, неприметно припрятанные за представительной шеренгой словарей и справочников.

Малоформатное издание оказалось подшивкой «Колокола» за 1868 год. На французском языке. Это обстоятельство вызвало ироническую усмешку демократа Чернышевского: «На каких же читателей рассчитывают господа издатели? На великосветских любителей подпольной литературы? На высокообразованную университетскую публику? Место издания (если верить титульной странице) – Женева. Ну, разумеется, не Царевококшайск. Какое же, любопытно, интеллектуальное блюдо припасено для сочувствующих отечественных прогрессистов?

Вот оно: письмо Огарева Герцену. Николай Платонович предлагает Александру Ивановичу «произвести государственный переворот». Проще говоря, вообще остановить издание «Колокола» за ненадобностью: «Со взглядами, господствующими в России, мы разошлись настолько, что перебросить мост невозможно».

Как говорится, приговор окончательный и обжалованию не подлежит. Решительный человек – Огарев; ни дать, ни взять декабрист-шестидесятник. Чернышевский вернул французский «Колокол» на полку, задвинув за книжное прикрытие, прилег на оттоманку. Сколько раз его, узника Вилюйского улуса, посещали подобные мысли. А когда ты непостижимо далек от России, невозможно понять, обогнал ты время или безнадежно отстал. И забегание вперед, и отставание с действительной жизнью несовместны. Точно так же невозможно жить с эпохой вровень, пребывая в вольной или невольной разлуке с Россией. В который раз Николай Гаврилович остро почувствовал свое долгое и непреодолимое бессилие.

Читать совершенно не хотелось. Солнечный свет праздно пробивал чисто вымытые стекла, высвечивая, как береговым или лагерным прожектором, одно только соображение: «Ни одной книги не сниму с полки: здесь всем им, с цензурным решением и без такового, куда как покойнее и безопаснее. А со мной неминуемо попадут под двойной полицейский надзор, гласный и негласный».

За мирным ужином Макаш Бекмухамедович настойчиво продолжал разговоры, начавшиеся в дороге и продолжавшиеся за обедом. Становилось понятно, что он, по воле судьбы пребывающий далеко от российских столиц, не находит здесь, в родных краях, равного по уму и образованности собеседника. То же самое чувство согревало душу Чернышевского. В обществе просвещенного казахского чиновника Николаю Гавриловичу было спокойно, словно он встретил и сидит теперь за одним столом с любимым, давно не виденным другом-единомышленником.

– Очень хочу сказать вам, уважаемый Николай Гаврилович, роман ваш не получил должного завершения. Четыре сна, прошу простить за вмешательство в святая святых, в вашу творческую лабораторию, это недостаточно. Вот я, к примеру, часто перечитываю призывный монолог: «Будущее светло и прекрасно, любите его, стремитесь к нему, работайте для него, приближайте его, переносите из него в настоящее, сколько можете перенести: настолько будет светла и прекрасна, богата радостью и наслаждением ваша жизнь, насколько вы умеете перенести в нее

будущее!» Хорошие слова, нужные... Так вот, после всего сказанного не обойтись без пятого сна.

– Вы не поверите, однако этот самый сон привиделся мне совсем недавно.

– Не может быть! Впрочем, очень любопытно. Хотелось бы, чтобы вы рассказали подробнее. Кстати, вы записали свой сон?

– Не уверен, что это необходимо. Объяснюсь, хотя не знаю, примете ли вы, человек близких мне взглядов, такое объяснение. У романа «Что делать?» оказалось очень много врагов. Это не только правительственные, государственные персоны. Писатели, причем те, которых я ценю выше, чем себя самого, встретили роман в штыки. Из одного духа противоречия и гордыни я никогда не стану каяться и просить прощения за несовершенство своего раннего писательского опыта. Я вообще отныне считаю возможным отчитываться только своей семье. Она принесла великие жертвы, пострадав за мой проект социальной утопии, за годы гонений и лишений. Зачем же, чтобы близкие сейчас страдали от моих социальных прозрений?

Буду говорить отрывочно и непоследовательно, чтобы больше поделиться выстраданным, пережитым, чтобы вы больше узнали обо мне. Вот мои сыновья. Один – с восьмилетнего, другой – с четырехлетнего возраста со мной не виделись. Безотцовщина при живом родителе. Я не узнаю себя в своих взрослых детях: хотя и тот, и другой не лишены творческого, писательского начала. Но сыновья не обладают ни капелькой моей природной самоотверженности.

Кстати, об отношении к себе. Я – самый главный враг романа «Что делать?». По многим причинам. Но заниматься самоосуждением не собираюсь, расцениваю такое посыпание писательской главы пеплом раскаяния предательством – самого себя, любимой жены, любимых сыновей. Это выше моих сил.

Вообще, знаете, моей жизни и раньше не стоило завидовать. Да и сейчас приходится петлять окольными тропами, как зайцу, который спасается от охотников. Представьте себе, ни одной строки не имею права напечатать под своим именем. Даже переводы... А я сейчас много перевожу. Вы что-нибудь слышали о «Всеобщей истории» Вебера?

– Не приходилось, – признался Макаш с сожалением.

– Свою-то «Всеобщую» давно составляю. Начал набрасывать главы, нашли, отняли, уничтожили. Теперь не записываю, держу в голове. Как вдруг, откуда ни возьмись, солидный московский издатель с деловым предложением – перевести с немецкого многотомник Вебера. Самой-то «Всеобщей истории» я тогда еще в руках не держал, составил представление по немецким же отзывам, неудержимо хвалебным.

Ну, известно, немец немцу глаз не выклюет. Германские комплименты Веберу завлекли, можно сказать, попался. А «Всеобщая»-то – с тевтонским секретцем. Вебер без устали толкует о превосходстве немецкой расы. Но вот мне неинтересно все эти высокомерные бредни переводить на русский язык. Эта ошибочная теория о превосходстве, мнимом, конечно, так стара, так агрессивно навязывается и в книгах, и в университетах, что я не просто раздражаюсь, а заменяю спесивые веберовские рассуждения на объективный рассказ о мировых расах, о различиях между народами. Нет плохих и хороших народов; здесь этические критерии недействительны. Народы можно классифицировать по языкам, но не по уровню развития, потому что всему свое время.

На мой взгляд, англо-саксонская раса прошла пик своего развития и стремительно деградирует. Возможно ли для русского читателя, пусть и под чужим именем, оставить в неприкосновенности нечто антиисторическое? Вот и получился из меня ершистый соавтор русского Вебера: какие-то куски текста выбрасываю, что-то ис-

правляю, местами дополняю, причем стараюсь также комментировать некоторые фрагменты. А жизнь помогает.

Позвольте привести пример. Я с детских лет интересовался историей, причем мое раннее увлечение началось с пушкинской строки «Как ныне собирается вещей Олег отмстить неразумным хазарам...» Эти неразумные хазары долгие годы оставались загадочными незнакомцами. И вот судьба – очевидно, ничего случайного в природе не бывает – привела меня в местность, в которой и располагались эти самые мифические хазары.

– Как раз Вебер вам не в помощь, а ваш покорный слуга... Я был знаком с Карлом Бэр, серьезным естествоиспытателем. Карл Эрнст фон Бэр здесь занимался раскопками, мы познакомились немного раньше. Никак я его за немца не принимал, а как я ему показался, не знаю. Но в высшей степени – одухотворенный человек. Все, кто к географии, к истории страсть имеет – все его семья. К слову сказать, я, как и Бэр, член Географического общества. Как соберемся, я покажу вам открытые Карлом Эрнстовичем бугры. Они так и называются бэровские. Это самое большое археологическое открытие: там, под каспийскими волнами и вновь открытыми буграми, погребена великая история многих племен и народов, в том числе и хазар.

– Макаш Бекмухамедович, вам, очевидно, немало известно про «неразумных» насельников астраханской округи. Вас-то что привлекло, что заинтересовало?

– Хазары – сплошная национальная пестрота. Одна треть хазарского народа – турки, замечу, это – мои предки. Своих предков мы чтим, знаем поименно до седьмого колена. Но ведь они жили здесь намного раньше. Давайте посчитаем, поверим алгеброй этнографию. На столетие – четыре поколения. На тысячелетие – сорок. А здесь можно говорить о многих тысячелетиях. Вам же известно: водные торговые пути никогда не простаивают – нет ничего дешевле и надежнее. Однако меня преимущественно заботит будущее, я надеюсь на потомков, пусть нам они останутся неизвестны, но хочу жить в убеждении, что они не потеряют веры, чести и достоинства.

Вы, Николай Гаврилович, герой действия и отречения, вы не принимаете сапоги всмятку – эгоистическую жизнь для себя, вам не страшны страдания, но вы же призываете к счастливому будущему, уверены, что оно непременно наступит. Меня все больше волнует будущее ближайшее – дети. Верю, что отдаленные наши потомки будут людьми бескорыстными и талантливыми. Редкая возможность не много побыть с будущим накоротке – сны. Иногда мне являются сновидения из будущего. Они – свидетельство, что конец переменам и преображению жизни не наступит. Время от времени в своих снах я встречаюсь с Махамбетом. Это очень хороший поэт, такой же опальный бунтарь, как и вы. Лет сорок прошло, как поэта, народного любимца зверски убили, однако вы не найдете в наших краях дома, где не знали бы события его жизни, его поэзию, его музыку.

Пока текла неспешная беседа, в помещение вошел рослый широкоплечий казах, с неожиданно резкими, словно прорезанными чертами неулыбчивого лица и неторопливо поздоровался.

Макаш приветствовал вошедшего с такой же сдержанностью и представил его Чернышевскому:

– Хорошо известный в степи народный певец и композитор Курмангазы. Virtuозно играет на домбре, при случае попрошу, чтобы он исполнил для вас кюй Махамбета. Курмангазы живет здесь, в моем доме. Я выхлопотал ему белый билет на полтора десятилетия. Он свободно, без опасений, может передвигаться по всей степи: в любой юрте его примут с открытым сердцем, накормят, и ночлег готов.

Но ему нравится жить здесь, а мне радостно обогреть такого человека – гордость казахов.

В дни восстания Исатая – Махамбета Курмангазы был с восставшими, правда, оружия в руках не держал. Лишь звучала для воинов его вдохновенная музыка. За вдохновение судьба потребовала дорогую плату: музыкант побывал на тюремных нарах Уральска, Оренбурга, Иркутска. Но рассказывать о кандалных странствиях не любит. Подробностей не допросишься. Помолчит-помолчит, потом берется за домбру. Какие тогда разговоры, надо слушать гениального музыканта...

– Вы, еще по дороге в вашу резиденцию, обещали пересказать один из ваших снов. Похоже, вы всерьез отнеслись к снам Веры Павловны, а ведь это художественный прием. Краткие упоминания меня сильно заинтриговали. Думаю, самое время наконец-то узнать, что же вам снилось такого особенного.

– Согласен: рассказ о сне на сон грядущий.

Представьте, поджарый, долговязый парнишка, юный такой степняк бродит по степи с большим ящиком на широком ремне. Торчат из ящика кисти разного размера, толстые, тонкие; здесь же и палитра имеется. Все, что видит этот зоркий юноша, а глаз на свою родину у него поставлен отлично, он закрепляет или на бумаге, или на холсте. Изображение человека в мусульманской традиции запрещено. Но так будет не всегда. Пока же рисунки Шевченко – галерея людей казахской степи. Мне довелось побывать во многих музеях... Огромная цивилизация с колоссальной библейской и светской художественной традицией. Понятно, что кочевая жизнь не располагает к живописи и скульптуре. Но, дорогой Николай Гаврилович, посмотрите наскальные изображения по берегам Каспия. Они все про кочевое житье-бытье...

– А что с парнишкой, вы про него забыли.

– Нет-нет! Как забудешь про талантливого мастера. Его картины хорошо бы показать и в дальних странах. Он с детства очарован Махамбетом, хотя родился через сто лет после гибели великого поэта. И есть у художника целый цикл гравюр с Махамбетом. Вот центральная работа: мускулистый, не юный мужчина держит в руках домбру. И музыкант, и инструмент как памятники. И я слышу степные мелодии, великую музыку, рожденную любовью и мятежной душой Курмангазы.

Просыпаюсь в слезах, в тревожных думах о потомках: кто их обогреет, кто выпросит для них у губернаторов, ханов, биев, у властных мира сего белый билет свободы – право беспрепятственно жить на родной земле? Размышляю о том, как далеко людям до нравственного совершенства. Вот что мне вспомнилось после вешего сна. У этого моего молодого родственника пришлось брать уроки рисования. У Махамбета по сей день беру уроки поэтического взгляда на мир, у Курмангазы – уроки музыки. Брал для себя. А великие люди тем славны и незабываемы, что их наследие нужно очень многим сейчас и сразу, к тому же надолго.

Помолчали. Утомленный долгой дорогой, незнакомой обстановкой и пространными монологами хозяина Чернышевский не соглашался и не возражал, только слушал, слегка смущенный тем, что за прошлое благодарят. По молчаливой и как бы виноватой улыбке гостя Макаш догадался, что пора и на боковую, тем более что вплотную приблизилась ночь; отгорели-отпылали ближние и дальние облака, мир погрузился в темноту.

– О хазарах мы не договорили, – стоя в дверях, заканчивал гостеприимно-дискуссионный день Макаш. – Хотелось бы знать, что вы-то думаете по этому поводу. Жаль расставаться с вами, да завтра вставать рано придется. Предстоит долгий день, поедем, воочию увидите Каспийско-Хазарское море. И Хвалынским его еще называют, есть и другие имена. Степь посмотрите, стада, наше замкнутое

кочевое житье-бытье. Я на денек выпросил судно с командой, но это позже... Ваши покои рядом, за стеной. При необходимости прислуга неподалеку. Желая вам на новом месте приятных и пророческих сновидений.

6. ВТОРОЙ ДЕНЬ

В просторной столовой над большим ореховым буфетом со стеклянными дверцами, за которыми плотно разместился яркий, бело-синий сервиз мейсенского фарфора, висели часы в малахитовом футляре. Они только что отзвонили. С последним ударом Чернышевский посмотрел на круг с римскими цифрами – шесть часов. Умывшись во дворе, на свежем воздухе, хотя мраморный рукомоийник с ножной педалью имелся и в доме, причем хозяин любезно поливал из кувшина гостю на руки, – сейчас и тот, и другой расположились за обеденным столом.

Пустынная столовая вся пребывала в потоках солнечного света. Поодаль от приступавших к утренней трапезе на разноцветном лоскутном одеяле-корпе сидел Курмангазы и негромко, неспешно перебирал струны домбры, временами он что-то напевал, как бы припоминая. Певец от приглашения присоединиться к Макашу и Чернышевскому отказался.

Две женщины в белых платках бесшумно сновали, то подходя к столу, то отходя от него. На столе появились китайские тонкостенные пиалы, сметана, девственной белизной напоминавшая свежевывающий снег, комок светло-желтого масла, ароматный брусок меда, пахнущие кислым молоком шершавые кусочки курта, маленькие, зарумяненные в масле баурсаки. Подали и европейские обеденные приборы – ножи и вилки, и большую чашу с водой, чтобы споласкивать руки во время завтрака, и льняные полотенца.

Позавтракав, Макаш и Николай Гаврилович сели в коляску. Хозяин протянул гостю шерстяной плащ, такой же оставил себе. Помог Чернышевскому одеться, после чего оделся и сам. Экипаж тронулся.

– Не жарко в плаще? – заботливо спросил Макаш.

Чернышевский отрицательно поводит головой из стороны в сторону.

– Сейчас прохладно – теплая одежда пригодится. Зато днем... Посмотрите на небо – ни облачка... Такая жара наступит: в одних рубашках останемся.

– Ничего, – бодро отозвался Чернышевский, – постараемся не растаять. Я-то хоть отогреюсь после сибирских погод, а вам, Макаш Бекмохаммедович, к знойной погоде не привыкать. И, наверное, есть своя прелесть и в летней каспийской жаре.

– Майский день на безлесной равнине, настезь открытый и восходам, и закатам – долгое и прекрасное зрелище. А наше каспийское небо с утра до вечера – сплошные открытия. Впрочем, все это вскоре еще больше откроется нашим глазам.

– Поистине «степь да степь кругом», а мы – равнинные путешественники.

– Могу порадовать, – поддержал Бекмохаммедов оптимистическую настроенность Николая Гавриловича, – наше родное Ганюшкино расположено на острове в волжской пойме – сам Каспий недалеко, в нескольких верстах, наша поездка пойдет полукругом, по береговой полосе: попутно хочу показать вам, как живут простые степняки.

На дороге коляску иногда слегка, иногда покруче потряхивало. Николай Гаврилович неотрывно всматривался в степное пространство. Перед глазами, до самого горизонта, открывались пейзажные картины, как расположившиеся в несколько уровней. Чернышевский держал в руках медную подзорную трубу, которой снабдил его Макаш и которая, наверное, служила его предкам еще в позапрошлом веке. Время от времени Макаш похлопывал возницу по плечу, коляска останавливалась

и тогда Николай Гаврилович мог без тряски разглядывать в подзорную трубу дальние и ближние пейзажи.

Посреди степи показалось озерцо; над ним и вблизи него беспокойно толклись бесконечные птичьи стаи, словно в воздух кто-то постоянно подбрасывал белый пух. «Вечное движение, – подумал Чернышевский, – смотреть, не отрывая глаз, можно бесконечно». Как на огонь костра, как на струи водопада или морские волны. Каспийские волны. Но пришедшими в голову поэтическими метафорами с Макашем делиться не стал. Вместо этого Николай Гаврилович заинтересовался незнакомым явлением – небольшим степным водоемом, где столько пернатых, некуда крыло просунуть.

– Что за озеро? – живо спросил он.

– Это всего-навсего обыкновенная впадина. Сейчас она залита весенней водой; к концу мая все недолговечные озерца пересохнут, и птицы вместе с выводками переместятся в прибрежные камышовые заросли, прямо в море – там скорее можно спастись от волков, лис и когтей зорких орлов.

– Конечно, камыши в море надежно защищают и старших, и младших...

– Кстати, вода в море с нашей, северной, стороны Каспия преснее снега: течение Волги и Урала растворяет береговую соль.

Коляска вновь катилась по прибрежной полосе. Внезапно Макаш прервал рассказ о снеге и соли. И вновь требовательно коснулся кучерского плеча.

– Посмотрите, – показал Макаш на восточную сторону горизонта. – Охотники вышли на промысел.

Чернышевский поднес подзорную трубу к правому глазу. Действительно, на возвышенностях там и сям сидели орлы с кривыми разбойными клювами, зорко, можно сказать, прицельно оглядывали обширное степное пространство; иногда они расправляли широкие крылья и на глазах становились больше в три-четыре раза. Порой медленно, как бы нехотя, взлетали и, распластав крылья, кончики которых подрагивали от ветра, взлетали высоко-высоко в поднебесье.

И невозможно было уловить мгновение, когда хищная птица камнем падала вниз, и вскоре в ее клюве беспомощно висело безжизненное тельце зайца или сурка.

– Сейчас утки орлам неинтересны, – продолжал свои попутные объяснения Макаш. – В степи более чем достаточно сухопутной живности: сурки и суслики имеются в изобилии. Казахи славятся умением воспитывать ловчих птиц – беркутов. Они настигают в открытом поле и лису, и волка. Охота с беркутом – древняя степная традиция. Но этого сейчас мы не увидим. Можно сказать в степи страда – скот телится – и старики, и дети в работе.

Постепенно в степи становилось многолюднее. С левой стороны показались юрты. Они выглядели буднично, из одинокого очага струился дымок. Возница вопросительно оглянулся на седоков.

– Нет, туда не поедет, – ответил Макаш на невысказанный вопрос. – Это небогатый аул. Люди начнут хлопотать, барана зарежут, последнее пойдет на стол, чтобы накормить путников, кто бы они ни были; гостеприимство – святой закон степи. А для начальства... Нет-нет, не хочу обременять людей своей персоной; они, конечно, подданные правителя, но не рабы... Мне же достаточно простого уважения...

Чернышевский ничего не сказал: горячность Макаша ему, старому скромному демократу, показалась излишней. Впрочем, собеседник недолго сохранял возвышенную интонацию.

– Мы поедет в другой аул, где сегодня праздник.

– Вам определенно известно, где праздник? Или вам, как правителю, такие события заранее известны.

– Необязательно. Просто приметы и признаки...

По свежей траве двигалось стадо овец, в середине ехал всадник в лисьем излишне теплом малахае, две крупных рыжих собаки замыкали шествие. Они безостановочно сновали из конца в конец отары, то отбегали, то возвращались, то кружились вокруг лошади, носились вприпрыжку, торопили солнце к закату.

– У нас есть поговорка – держи голову в холоде, а ноги в тепле. Эта лисья шапка – не жарко ли? И собаки, похоже, голодные.

Макаш, не промедлив, откликнулся:

– Собак принято кормить один раз в день, вечером. Доберутся до загона, там еда приготовлена. А малахай – это и есть «в холоде». Обратите внимание, на нем чапан – халат стеганный – теплее наших плащей. Вот и сохраняется постоянная температура – 36 примерно градусов. А на солнце можно быстро перегреться, вышел он задолго до рассвета при ветре и ощутимой прохладе. А теперь ему ни жарко, ни холодно.

На дороге, нагоняя медленно едушую коляску, показался огромный верблюд. Своей крупной статью, круто выгнутой шеей, своей двугорбой спиной он вконец очаровал Чернышевского. Николай Гаврилович восхищенно следил за царственной походкой степного животного. Вскоре показалась целая вереница верблюдов. На горбы надеты и укреплены опоясывающими веревками выцветшие залатанные накидки. Спокойная церемония с независимо-отрешенным видом проследовала дальше, а объяснительные речи Макаша продолжались:

– Здесь все больше самцы. И молодые нестельные верблюдицы... Стельные давно вернулись домой вместе с верблюжатами...

– Что-то хозяина не видать, они ведь не сироты.

– Ну, разумеется. Да еще из разных аулов. Верблюды много месяцев свободно пасутся в степи... Прошлогодней верблюжьей колючки там – пропасть: прокормятся на подножном корму. Правда, зимой – иное дело... Понятно, что полностью верблюды беспризорными не остаются; главное, что они хорошо помнят дорогу домой и кто у них хозяин.

– Все равно, домашний кров далеко, а воры... конокрады... Украсть верблюда – дело прибыльное, наверное...

– Не совсем. Кража скота по-казахски называется «барымта». Да, есть, есть еще воровство... Не извели пока. Однако судьи-бии не дремлют: за украденного верблюда, за похищенную лошадь грабитель расплатится собственным скотом... Дороже будет... Это – строго. Украсть незаметно – не получится: свидетель непременно найдется, вора накажут. Чиновники, ваш покорный слуга в том числе, не остаются в стороне. А судьи-бии – это чтобы не произошло самосуда...

Тем временем коляска повернула в сторону выплывшего на горизонте становища. Сошлись в небесном зените небольшие облака, попеременно, словно кисейной занавеской, прикрывающие солнце. Эти невесомые облачные комья беспрерывно меняли форму и цвет. Казалось, что небо – это колоссальных, космических размеров палитра, и неизвестный художник быстро и неудовлетворенно бросает на нее все новые и новые краски, смешивает, не оставляет в неприкосновенности. Красный, малиновый, сиреневый, лиловый, золотой, синий до черноты, багровый... Сейчас здесь собраны все цвета, поименованные в самом подробном словаре, вдобавок великое наслаждение для глаза неведомого гениального художника – оттенки, яркие, звонкие или акварельные, неуловимые...

Затишье недолго позволило любоваться красочным гобеленом неземного происхождения, вскоре ветер стал понемногу теснить облачные громады к югу. Пронесся табун: вслед за головным скакуном, растянувшись, неслись остальные,

пересекая наискосок привольное пространство. Последним скакал рослый всадник: привставая на стременах, он яростно размахивал правой рукой с зажатой камчой. Было неясно, то ли он стремился остановить, задержать табун, то ли, наоборот, понуждал его бежать еще быстрее. А лошади неслись все стремительнее, словно дикие жеребцы, вышедшие из повиновения человеку.

Перед коляской, как рыжая молния, выбежала лисица и, блеснув красноватым оттенком светло-коричневой шерсти, столь же молниеносно скрылась. Путники только глазами хлопали и проводили проворную красавицу восхищенными взглядами. Высоко в небе парили, время от времени взмахивая крыльями, зоркие беркуты. Сурки, издалека похожие на серые столбики, при приближении коляски как по команде без промедления исчезали в норах...

Приехали в аул.

Не успели Макаш и Чернышевский приблизиться к группе белых юрт, как к ним поспешно подбежали юноши, вознице же показали, куда отогнать опустевший экипаж. Чернышевский сдержанно оглядывался, опасаясь неумеренным любопытством показать себя заезжим невежей. Гостей сопровождали в главную юрту через просторную площадку, уставленную хозяйственными предметами. На Чернышевского, на короткое время даже позабывшего о Макаше, обрушился вихрь новых впечатлений – нечто шумное и разноцветное.

Все, решительно все казалось здесь необыкновенно интересным, достойным запоминания: глиняный очаг, на нем, утопленный почти до краев, стоял большой, сильно закопченный котел с крышкой из деревянных планок, ворох сухих кизяков лежал рядом; стрелой проносящиеся мимо разномастные собаки, на которых раздраженно покрикивала загорелая пожилая женщина, на чьих руках позванивали серебряные браслеты; юноши-помощники в стеганных халатах снимали с лошади, жадно пьющей воду из деревянной колоды, какие-то узлы и тюки, после чего прибывший груз перетаскивали в юрту. Чернышевский знал татарский язык и вообще был полиглот, но звучащий язык надо было переводить для себя, и смысл все время отставал от речи. Макаш добровольным переводчиком пересказывал Николаю Гавриловичу, о чем говорят и что происходит.

– Это совсем молодые люди, первым браком женятся... – до слуха Николая Гавриловича добирались отрывки объяснительного монолога Макаша. – Невеста и жених пока дожидаются в разных юртах, остальные заняты – присесть некогда: свадебный обед приготовить, положенную по традиции одежду, разобрать подарки молодым и старшим, определить, кого на какое место посадить...

Чернышевского отвлекли несколько всадников, скакавших наперегонки поодаль.

– Пробная байга, – заметил Макаш. – Настоящие состязательные скачки с победителями, с призами, с песней акына, восхваляющей батыра, пройдет попозже. Мы не дождемся. Заглянем пока в юрту, куда несут подарки...

Кошма юрты была приподнята, на полу были разостланы ковры, лежали подушки, также в ковровых чехлах. Ковры изумляли орнаментом, глухими, но в то же время подчеркнута праздничными красками. Стояла посуда: на пиалы и на большие фаянсовые чайники не жалели красок – все больше красным и оранжевым пламенем горело все это чайное великолепие. Как малое земное солнышко, царственно сиял медный самовар. И отдельно лежала груда мехов – волчьих, лисьих... Около входа расположили большое серебряное блюдо для денег. Еще пустое, оно пока светилось серебряным блеском.

К гостям подошел отец жениха; вместе с ним гости перешли в большую юрту.

– Обед нескоро, – заботливо предупредил Макаш, – к тому же дальняя дорога нам предстоит, лучше перекусить сразу.

– Такой сытный завтрак... мы поутру... – деликатно начал Чернышевский, но гостя никто слушать не стал, и вскоре все сидели за низким круглым столом, на котором молодая крепенькая казашка с серебряными монетками в угольно-черных волосах быстро расставила чашку со сметаной, пиалы с шубатом, блюдо с горячими баурсаками, только-только вынутыми из малого котла, что кипел рядом с большим от которого на всю округу распространился дразнящий обоняние мясной дух.

После того как вежливые гости осушили пиалы с шубатом, отведали баурсаки, хозяин пригласил Макаша и Чернышевского следовать за ним. Он повел гостей за юрту и немного дальше, к небольшому загону.

– Как раз накануне свадьбы случилось чудо – верблюдица принесла двойню.

Подходить ближе к верблюдице не стали, чтобы лишний раз не тревожить роженицу. Она стояла смирно, только спокойно скосила взгляд на пришедших. Новорожденные малыши – два белых верблюжонка – захватили по материнскому соску каждый. Мать двигала нижней челюстью, перетирая в насыщающую жвачку добытую в том же загоне самую вкусную на свете прошлогоднюю степную колючку. Все замерли, не отрывая глаз от мирной картины, которая никогда, во все времена, не может надоесть.

– Хороший знак, – наконец нарушил молчание хозяин, – благословенная примета. Пожелаем доброго приплода и нашей снохе.

Макаш добавил совершенно новых впечатлений о мирной картине:

– Есть и такое поверье, что двойня у верблюдицы – плохой знак, но это не у казахов. Такой приплод радость – ведь верблюдица вынашивает верблюжонка почти год и кормит его своим молоком 10 месяцев. А верблюд в хозяйстве – большое богатство. Тут история у нас была – украли пятерых верблюжат. Хозяин пришел ко мне с жалобой и назвал обидчиков. Кто видел, кто донес, не знаю. Я хоть и не бий – но в родстве с биями, иногда ко мне приходят и на судий жаловаться – мало ли своекорыстных. Так вот, я так рассудил: верни пятерых украденных и прибавь своих пять. Вернули и прибавили. В своем хозяйстве воры сделали брешь, но «суд» мой люди посчитали справедливым. Главное доказательство – не свидетель, а тавро у каждой семьи свое, хорошо, переклеймить не успели.

...Когда вновь выехали в открытую степь и коляска покатила в обратном направлении, Чернышевский сказал:

– Макаш Бекмохаммедович, мне все виденное и слышанное было внове. И как хорошо, что с жизнью казахов мне посчастливилось познакомиться во время прекрасного праздника. Спасибо.

– Это хорошо, Николай Гаврилович, что вам понравилось... Надеюсь, и в остальные дни вы не разочаруетесь. Но в аул я вас свозил не случайно. Хочется сравнить хозяйствование землепашцев и скотоводов. Я тут Герцена начитался и других утопических социалистов, но все понял. Помогите разобраться. Хочется своему народу пользу принести, а я пока гирей вишу на приказах реформироваться и переходить на другой способ хозяйствования, на другую веру. Боже упаси реформироваться революционным путем, я хочу компромиссами уцелеть со всей нашей землей и людьми. Вернее, дипломатией – нелегкая это работа. Сейчас не буду вас утруждать, но этот разговор для меня очень важен. Есть у нас еще время...

Возница откинул кожаный верх коляски, седоки увидели небесный простор: майское солнце, преодолев больше половины пути по небосводу, все меньше и меньше раскаляло все вокруг. Море совсем близко накатывало свои волны, и в тихой ряби дрожащая вода досконально повторяла краски неба. Между этими

двумя необъятными безлюдными пространствами экипаж катил по самостийной дороге.

– Теперь хочу показать вам одну прибрежную пещеру. Много здесь их было, но море неуправляемо... Все-таки вблизи одна сохранилась почти в первозданном виде.

Путники подъехали к нагромождению пластов породы, где, казалось, невозможно разобраться в порядке природного хаоса, но Макаш быстро отыскал вход сквозь небольшую арку в урочище отполированных то ли водой, то ли человеком стен по обе стороны неширокого прохода. Стены были почти вертикальные, и восточная освещалась подобрешшим солнцем, а западная тонула в непроглядной тени.

Сначала хозяин дал гостю осмотреться и восхититься зрелищем человеческих художественных рук со всем первобытным опытом и восторгом. Он вооружил Николая Гавриловича фонарем для рассматривания западной стены.

– Это детское мышление: солнце, лошади, овцы, косуля с теленком в животе, но выполнено сильным и талантливым художником. А вот и чум...

– Это шатер посреди поля боя... – поправил Макаш. – Смотрите, всадники с луками единичные, а оружие: луки, копья, топоры, ножи – все поле усеяно. Это относится ко времени обработки железа – второе тысячелетие до нашей эры. Библейская, я скажу вам, древность. Вот эти наскальные изображения еще не датированы. А вдруг это бронзовый век? Я горжусь, что скотоводческий быт уже запечатлен в наших местах в камне. Художество всегда сопровождало кочевников, но вот в таком еще первозданном виде.

День клонился к вечеру. На обратном пути оба путника уснули, утомленные качиванием коляски и впечатлениями длинного дня, моря и неба. Теперь уже возница разбудил их во дворе деревянного дома в Ганюшкине.

7. ТРЕТИЙ ДЕНЬ. ДИСПУТ О СОЦИАЛИЗМЕ

– Макаш Бекмохаммедович, нашему неожиданному знакомству и трех дней не исполнилось, но мое впечатление таково: знаем друг друга давно, в умственном отношении, как говорят в России, одного поля ягоды...

– Что не мешает нам, Николай Гаврилович, на некоторые вещи смотреть по-разному. Предмет наших споров...

– Смотреть-то, может быть, и по-разному, тем не менее в одну сторону.

– Надеюсь. Вот только пока не получилось... Знаете, ни вам, ни мне пока не удалось высказаться с теоретической определенностью. Крупинки, крошки... Все как-то отрывочно, разбросанно, не скреплено в нечто цельное...

Чернышевский не предполагал, что в каникулярном отдохновении, приятно случайном событии, непреднамеренном стечении обстоятельств встретит человека, с которым интересно не просто вести беседу, попутно и слегка касаясь жизненных происшествий нынешнего времени, но и обдумывать более глубоко и разносторонне собственные мысли. «Истинно образованный человек, совсем не отдаленный от века, – решил Николай Гаврилович. – Как хорошо хоть на самый краткий срок возвратиться к времени пылкого юношества, к непримиримым спорам, злым и жестким обвинениям и проклятиям по адресу несогласных, с примирительными объятиями и долгой памятью о неповторимых мгновениях возвышенно-бесстрашных разговоров».

Он чуть помедлил, но все-таки спросил Макаша:

– Потому вы и назначили мне интеллектуальное свидание в библиотеке? Скреплять...

– Понимаю, почему вы улыбаетесь, Николай Гаврилович. Конечно, мне вспоминалась ваша многое объясняющая статья «Русский человек на rendez-vous». Но это обстоятельство – лишь начальный момент. Вообще-то меня здесь подталкивала корысть: очень хочется именно из ваших уст услышать... Ваше исповедание веры, как можно понять, социализм...

– Благородная корысть... Но озадачили вы меня крепко... Да, я убежден в необходимости... нет-нет, скажу точнее, в неизбежности социализма. Капитализм не оставил места на земле крепостникам-феодалам, и пусть человечество поднялось на следующую ступень своего пути к общему счастью, но, положив руку на сердце, нищета не исчезла, «как сон, как утренний туман», рабская зависимость человека от хозяина осталась...

– Ваше мнение сурово. Но справедливо... Как же с этим справиться? Значит, на пути к социалистическому устройству мира крепостничество победили, но выросла новая крепость, и как будто прочнее прежней – капитализм.

– Терпение, терпение, Макаш Бекмохаммедович, скоро сказка... в том числе, и социалистическая, сказывается...

– Объяснитесь.

Впрочем, Макаш не столько намеревался прослушать лекционный экспромт, сколько дать возможность дорогому гостю свободно высказаться о предмете, очевидно, многие дни занимавшем Николая Гавриловича. Хозяин изложил свои предположения о будущем мира и правду, оставляющуюся своим личным неопубликованным достоянием. Вольное повествование о прежнем, нынешнем и будущем устройстве мира необходимо как самому русскому демократическому философу, так и российскому чиновнику любой национальности, любого вероисповедания. Необходимо лишь, чтобы государственные люди обладали схожим демократическим мировоззрением.

Чернышевский помедлил с ответом. Чувствовалось, что он периоды давным-давно существующего письменного текста переводит в границы разговорной речи:

– Объяснюсь. У всемирного капитализма в разных землях – неодинаковые жизненные сроки. Вполне возможно, тому или иному народу от низшей ступени, не задерживаясь в середине, вовсе не золотой, удастся шагнуть сразу к высшей.

– Но вы, Николай Гаврилович, не жалуете общину, не считаете общинное владение идеальным мироустройством?..

– Истинно, не очень жалую, думаю, что в России... Нет, не совсем так, послушайте, мое глубокое убеждение, что община – живое ископаемое, музейный экспонат, нежеланное наследие допотопных времен. Общинное зеркало – рассказывает всю неприкрашенную правду: историческое развитие замедленно, отстает от века.

– Но все-таки есть в общине и положительное... Или социалисты всерьез ополчились на это, по вашим словам, «ископаемое» и готовы до конца сражаться?

– Макаш Бекмохаммедович, хорошо, что мы с вами пристрастно взялись за определение мыслительного социалистического круга. Давайте разбираться.

«Мы – сообщники с Николаем Гавриловичем, – незаметно и необидно усмехнувшись, внезапно и довольно-таки дерзко подумал Макаш. – Непременно обвинят в чем-либо противогосударственном, в каком-нибудь заговоре, если дознаются о содержании наших разговоров. Что-то они, действительно, напоминают опасную полемику». Но предостерегать собеседника посчитал излишним, сказав лишь:

– Не станем спешить, Николай Гаврилович.

– Я и не собираюсь торопиться. Социализм стоит того, чтобы максимально приблизиться к истине. Начну с Сен-Симона. Якобинец, поклонник Бонапарта. Вот

только одной революции, свергнувшей короля, ему оказалось мало, требовалось идти дальше. А в помощь необходимо призвать науку, создавать новое общество по научному проекту. Революции не хватило рациональности, разума, продуманной последовательности действий.

– Зато с избытком хватило жертв. Это потрясшее Францию событие при жизни Сен-Симона называли Великой кровавой революцией.

– А бывают ли бескровные революции? Так вот, большая страна... это – центр Европы, краеугольный камень древнейшей цивилизации... страна великой культуры... осталась в развале, разброанности и растерянности. И Сен-Симон взялся начертить правильный путь к благоденствию – рациональный, социалистический путь, который, по мнению философа, в подъеме экономики при равенстве всех в обществе, и все должны трудиться...

– От Сен-Симона и пошло, наверное, «трудящиеся»...

– Может быть, ваша догадка верна. Так вот, обязательность труда и есть гарантия равенства. И обязательное планирование экономики...

– Отдельным членам общества эта задача не по плечу. Тем более общества, разброанного на необозримых пространствах, опирающегося на семейное начало в своем труде и приобретенном имуществе. Это совсем другая – индивидуальная – справедливость и вековое жизнеустройство – семье, роду выживать в одиночку...

– Да, да... Это – за государством... И вот еще: по вашему слову «скреплять». Сен-Симоновский вариант объединения общества таков: «новое христианство»...

– Коротко говоря, «все люди – братья». От этого выражения веет ветром утопии. Французский мыслитель не первый, кто верил – и проповедовал отмену государственных границ, всеобщий мир и объединение народов. Это же не первый утопический воздушный замок...

– Построенный на песке иллюзий... – быстро прибавил свое слово автор русского «замка счастья», и Макашу послышалось определенное раскаяние Чернышевского в заблуждениях молодости.

Но сегодня ему было необходимо не покаяние, не отказ от извинительных ошибок, а четко сформулированная теоретическая программа, воспользовавшись которой можно было строить социализм, оставив в патриархальном, пусть и привлекательном прошлом феодально-семейные правила жизни, пропустив стадию капитализма, перейдя в социалистическое общество, но главное, обязательное и неперемное – никаких насильственных перемен, без кровавой революции. Он также понимал, что при его жизни социальных потрясений не произойдет.

Чернышевский продолжал:

– И не последний замок, разумеется... Что не отменяет положений философской системы Сен-Симона. Она, разумеется, не во всем верна...

– Но ведь Сен-Симон с его системой – не последнее слово в современной философии. Наверное, есть что-то поновее, более приближенное к нашим временам и нашим нуждам? – подбросил сухих дров в костер полемики настойчивый хозяин.

– Есть. «Капитал. К критике политической экономики». Автор – Карл Маркс, как можно судить, человек серьезный, обстоятельный.

– Вы знакомы с книгой?

– К сожалению, с самим сочинением полноценное знакомство... пока не состоялось. Один мой родственник в 1874 году послал мне первый том «Капитала», но ссыльно-каторжным не все посланное выдавали для чтения. Зато я читал «Отечественные записки», «Русское богатство», «Вестник Европы», «Знание» – наша русская экономическая публицистика весьма высокого уровня, так что впечатле-

ние составил. Довольно обстоятельное. Правда, сподобился прочесть о себе, что я чуть ли не предводитель русской революции. Не слишком лестно. Роман «Что делать?» Маркс прочитал. Мои критические работы тоже пришлось к делу. Маркс не пожалел трудов – для того, чтобы прочесть, выучил русский язык. Разумеется, не одного Чернышевского ради, но все-таки... Он скончался накануне моего переселения из Вилуйска в Астрахань. Очень жаль. Есть у меня полемическое мнение. Маркс прав, когда говорит о делах европейских, но что такое Россия, российские люди, представляет смутно.

Макаш перебирал книги на книжной полке в первом ряду, потом извлек из второго ряда «Капитал» Маркса без переплета, с голым, серым титульным листом.

Чернышевский взял книгу в руки, заинтересовано полистал:

– «Капитал» я не прочел, но познакомился с содержанием в изложении киевского профессора Н. Зибера, опубликованном в журнале «Знание».

– Я «Капитал» прочитал. Перевод «Николая». Грешным делом подумал, не сам ли Николай Чернышевский перевел...

– В тюрьме, на каторге и в ссылке? Хорошего же вы мнения о российской пенитенциарной системе. Стража, конечно, отстывает от писаного закона, но не в пользу арестанта. А переводчик «Николай» – Николай Францевич Даниельсон. И кто же бросит в него камень за эту вполне оправданную предосторожность. Он не особенно скрывается. Я самолично читал в журнальной периодике, что Маркс в декабре 1872 года (тогда я еще понятия не имел, что такое Вилуйск) написал Николаю Францевичу: «Мне хотелось бы что-нибудь о жизни и личности Чернышевского напечатать, чтобы пробудить к нему симпатию на Западе. К тому необходимы мне, однако, даты». От этих мимолетных сведений и намерений самого Маркса все-таки дух мой удержался, несмотря ни на что.

– Николай Гаврилович, я Сен-Симона прочел о социализме и Маркса о коммунизме, но как это пригодится для российской практики, не могу взять в толк.

– Никак не пригодится. Сен-Симон – это отвлеченные утопические построения, кабинетные фантазии, а Карл Маркс – далеко впереди российской цивилизации. «Капиталистических накоплений» в России – нехватка для таких общенародных предприятий, как социальная революция, экспроприация неправедных капиталов и коммунизм. Критическая масса настоящих пролетариев наберется нескоро. Отмена крепостного права не дала крестьянину землю, вдобавок отняла какую-никакую опеку помещика.

К. Маркс писал редактору «Отечественных записок». Этот журнал у меня тюремное начальство не изымало: «В послесловии ко второму немецкому изданию "Капитала" ... я говорю о "русском ученом и критике" [Чернышевском] с высоким уважением, какого он заслуживает. Этот ученый в своих замечательных статьях исследовал вопрос – должна ли Россия, как того хотят ее либеральные экономисты, начать с разрушения сельской общины, чтобы перейти к капиталистическому строю, или же, наоборот, она может, не испытав мук этого строя, завладеть всеми его плодами, развивая свои собственные исторические данные».

Впрочем, так как я не люблю оставлять "места для догадок", я выскажусь без обиняков. Чтобы иметь возможность со знанием дела судить об экономическом развитии России, я изучил русский язык и затем в течение долгих лет продолжал эти занятия».

Не ручаюсь за точность и порядок слов, но мысль его остра; с ней нельзя не согласиться. И все-таки это теория, а практика плачевна. Вот что еще писали в российской прессе... Это мнение дословно привожу – заучил как стихи, чтобы не расставаться с лелеемой мыслью в случае конфискации журнала:

«3 марта 1861 г. Александр II при громких рукоплесканиях всей либеральной Европы провозгласил отмену крепостного права. Усилия Чернышевского и революционной партии добиться сохранения общинного владения землей хотя и привели к результату, но в такой неудовлетворительной форме, что еще до опубликования манифеста об освобождении крестьян Чернышевский с печалью признавался: "Если бы я знал, что поднятый мною вопрос получит такое разрешение, я предпочел бы потерпеть поражение, чем одержать подобную победу". И действительно, акт освобождения был не чем иным, как ловкой воровской проделкой. Значительная часть земли отнята у действительных владельцев, взамен предлагается крестьянам выкупить землю. Этот акт царского вероломства послужил для Чернышевского и его партии новым и неопровержимым аргументом против императорских реформ».

Породила реформа не крестьян-производителей и не сознательный пролетариат, а полную гольтыбу.

Маркс полагает, что уничтожение крепостного права лишь ускорило процесс разложения и что предстоит страшная социальная революция.

Вот наудачу открываю страницу, здесь про уральцев пишут – почти про вашу землю. Но уральцы – пограничные казаки и земледельцы, а казахи – животноводы и кочевники – у Маркса в расчет не взяты. Вот полюбуйтесь: «Если уральцы доживут в нынешнем своем устройстве до того времени, когда введены будут в хлебопашестве машины, то уральцы будут тогда очень рады, что сохранилось устройство, допускающее употребление таких машин, требующих хозяйства в огромных размерах, на сотнях десятин.

Не следует только при этом забывать, что уральцы со своей общественной обработкой земли, предохраняемой от гибели из военных соображений (ведь и у нас существует казарменный коммунизм), стоят в России совершенно обособленно... И если нынешние порядки сохранятся у них до момента введения машин, то от этого получают выгоду не сами уральцы, а русский военный фиск («Это государственная казна», – попутно объяснил Николай Гаврилович), верными слугами которого они являются».

Нельзя и не удастся, можно совершенно быть уверенным, построить коммунизм без окончательного и всестороннего разработанного плана с учетом интересов всех сословий и всех рас – иное чреватое большой кровью. Надо обдумать и удерживать то лучшее, что сложилось на наших огромных пространствах, с неповторимыми общественными отношениями. Нельзя принимать за истину чужое мудрование – не приживется, а вот преждевременная гибель неизбежна.

– А вы, Николай Гаврилович, – человек азартный, рискованный, наверное, дальше услышу нечто более радикальное... Хорошо бы от радикальных методов отойти, вернуться к повседневной, пусть и непредсказуемой жизни.

– Продолжу мысль. Философские воззрения и предположения Сен-Симона не во всем верны. Как и остальные интеллектуальные построения социалистов-теоретиков... Ничего страшного. Это же не закон из сферы физики или астрономии... А в вашем замечании, Макаш Бекмохаммедович, мне послышалось нечто скептическое. Вы, как мне показалось, не принадлежите к поклонникам Кампанеллы и Томаса Мора. «Город солнца» не стал для вас образцом, несбыточным, но мечтательным материалом.

– Да, я не мечтатель, я практик. К приверженцам Сен-Симона безоговорочно себя отнести не могу. Мы не сходимся с ним, поскольку он свободе личности кладет предел, а право на власть в обществе передает банкирам и промышленникам. Иными словами, без старшего обойтись нельзя. Община такому постулату противостоит.

– Может быть, вполне может быть... Нет сомнений, что русский крестьянин скорее примет социализм, чем западноевропейский селянин. Тому обожествление частной собственности помешает...

– Хочу поделиться с вами самой большой своей гордостью, – понизив голос, сказал хозяин. – Земельная реформа почти двадцатилетней давности к старинному степному укладу относилась весьма неблагоприятно: исконные казахские земли стали собственностью Российской империи. Земля аульным общинам в собственность передавалась лишь за плату, приречные и приозерные луга стали собственностью казачьих войск, казахи могли только арендовать... Прочие многочисленные притеснения коренного населения нашего края не стану перечислять, скажу только, что все пореформенные изменения... Они же не по народной воле, а по указу высшей власти, но даже малая степень насилия отменяет благое начало... Позвольте, приведу пример из нашей жизни.

Расскажу об одном нашем правителе – о Жангир-хане. Я не поклонник этого могущественного деятеля степи, хотя признаю, что он был правителем просвещенным, однако, получив землю между двумя великими реками, он ухитрился оставить без рыбного промысла, питьевой и поливной воды свой скотоводческий народ. Поймите меня правильно, Жангир-хан наделил меня большими привилегиями. Он высоко оценил и мое знание русского языка, и мое стремление бескорыстно служить интересам империи, частью которой мы, киргизы... (стереотип сбивает) – казахи мы, казахи – являемся. Кстати, «казах» – это не этнический термин, а обозначение предназначения – не просто вольный человек, а вольный в своей смерти, короче, на смерть в битве обреченный. У Пушкина есть гениальное стихотворение «Делибаш»...

– Напомните, – попросил Николай Гаврилович, – я пока связи не уловил. Макаш прочел без запинки стихотворение Пушкина с полным восторгом.

ДЕЛИБАШ

Перестрелка за холмами;
Смотрит лагерь их и наш;
На холме пред казаками
Вьется красный делибаш.
Делибаш! не суйся к лаве,
Пожалей свое житье;
Вмиг аминь лихой забаве:
Попадешься на копье.
Эй, казак! не рвися к бою:
Делибаш на всем скаку
Срежет саблюю кривою
С плеч удалую башку.
Мчатся, сшиблись в общем крике...
Посмотрите! каковы?..
Делибаш уже на пики,
А казак без головы.

– Вот боевая ничья! – расхохотался Чернышевский. – Неподражаемый Пушкин!

Макаш тоже рассмеялся и некоторое время они не могли вернуться к серьезной беседе, с удивлением обнаружив друг в друге совсем незнакомую пока легкость

и смешливость. Серьезность их разговоров была разряжена противоположной реакцией, послужившей отдыху и переключению будто бы на другой предмет.

– Это же про наших предков – монголов и тюрков, – наконец произнес хозяин. – Все поголовно воины, а «лава», которую невозможно победить, пленить или расстрелять... Хоть бы и стрелами... «Казак» – более позднее слово, тем более, народ. А мы казахи – плоть от плоти предшественников и с тем же назначением. Но вернемся к нашему просвещенному хану – Жангиру.

Допустив волнения народа, без природных богатств обреченного на вымирание, практически уступив пришельцам морские и речные берега, а также и мало-мальски пригодные для рыбной ловли озера... Он никак не мог исправить положение. И дождался, что русский царь упразднил ханскую власть, сказав: «Двум царям в России не бывать!» Поставил во главе казахов султана. При третьем султани – Баймагамбете Айшуакове (этот чингизид-торе с 1815 года служил в казачьей кавалерии) умер сам Жангир, а через год убили Махамбета. Темное было это правление... От берегов уже отогнали казахов и их отары и отдали территории и право рыбного промысла местному казачеству. Наше же старинное название «казах» унаследовали казаки. И все же... Почему бы нам не быть братьями? Но нет. У нас здесь самодержец – губернатор, который всегда – наказной атаман казачьего войска. Так ведь своего подчиненного казачий начальник не выдаст. Но что же делать казахам, моим землякам и соплеменникам? Они до того обеднели, что... Не могу без слез вспоминать, как казахи продавали детей, спасая их от голодной смерти, откочевывая на левый, азиатский берег Урала. А там нет ни одной тропы, чтобы не принадлежала старинному роду.

Я против того, чтобы наказные атаманы строили в нашей степи социализм и позволяли казахам пасти скот при условии смены вероисповедания. Разве у русских людей хриstopродавец в почете? Нет, он – самый главный враг человечества! У нас торговля не двигает никакой прогресс. Натуральному хозяйству – далеко до торгового прогресса.

Макаш так разгорячился, что понадобилось время, чтобы вернуться к задуманной беседе. Он вышел и попросил принести по чашке молока, которое собеседники выпили молча. Далее беседа пошла чуть-чуть по другому руслу.

Начал Чернышевский:

– А последствия реформ в ваших краях велики? Простите мне мою понятную неосведомленность, просветите, пожалуйста, мне очень важно знать подробности: как все это проходило и проходит здесь? Неплохо знаю отношение русской демократической общественности... В России – рубежный год – 1861. Наши публицисты и в империи, и за границей, можно сказать, по косточкам разобрали опасную непоследовательность реформаторов. Некрасов написал справедливо: «Распалась цепь великая, распалась, раскололась – одним концом по барину, другим – по мужику». Надо признать, что барский конец оказался полегче... Впрочем, извините, Макаш Бекмохаммедович, давно душа болит...

– Душа болит и у меня. Поверите ли, у нас ничего не изменилось с отменой крепостного права, потому что его в степи не было в законе. Всех неприятных обстоятельств не перечислишь, все неблагоприятные перемены не назовешь...

– А в чем же предмет вашей гордости? Вы сказали...

– Мне удалось на двадцать лет отсрочить на территории Волжско-Уральского междуречья, Первого и Второго Приморских округов действие реформ. Вот если бы и прочие степные правители поступили бы так же... Более всего за моего преемника волнуюсь – рано или поздно придется уходить из правителей. Я пишу напутствие моим наследникам. Сочинил целую конституцию для кочевников, причем я, конечно, за оседлость ратую...

– Нельзя ли мне почитать ваш труд?

– Можно, от вас нет секретов, но написано по-казахски арабской вязью.

– Да, это я с налета не смогу освоить... Однако вижу: пример – привлекательный.

Последователи нашлись?

– К сожалению, нет, иначе...

– Забегу в нашем разговоре чуть-чуть вперед: вам, Макаш Бекмохаммедович, кажется, что от общины общество безболезненно перейдет к чему-то высшему, миновав нечто промежуточное как лишнее, ненужное. Поскольку наш разговор проходит не в присутствии начальника жандармского управления Головина, выскажусь очень определенно: прийти к социалистическому строю – первобытно-общинному наших дней – возможно только революционными средствами.

Это решительное вторжение грозного призрака революции не просто насторожило Макаша, а заставило серьезно задуматься: имеет ли смысл продолжение диалога. Защитник степного миропорядка лучше Чернышевского осознавал его недостатки и мириться с ними не собирался, однако не мог и согласиться с насильственной переменой общественного строя.

Долгое и не совсем вежливое молчание собеседника Николай Гаврилович истолковал по-своему. Поскольку сначала ему казалось, что Макаш готов принять высказанные и Чернышевским, и другими теоретиками революционные идеи, применить учение о том, что отмена несовершенства и неравенства мирными средствами не может произойти непосредственно и немедленно, Николай Гаврилович не обострял разговора, который перевести не в практику, а в диалектику пока не получилось.

Однако теперь Чернышевский осознал: невысказанность помешает откровенности, а недоверие здесь – не помощник в общении.

– Продолжу, – уменьшив настойчивость, некий излишний напор, заметил Чернышевский. – За долгие века, так сказать, со времен Адама, первобытно-общинный строй немало потерял. А в нем имелась изначальная общинная мудрость... Наверное, Макаш Бекмохаммедович, кое-что сохранилось на вашей земле и по сей день. Сейчас же узловое противоречие, непримиримое, конечно же, – между богатыми и бедными. Первые – хозяева жизни, вторые – в услужении, в рабской зависимости...

– Николай Гаврилович, к вашему мнению нельзя не прислушаться, оно и очевидно, и у вас есть единомышленники. Меня смущает высокая, на мой взгляд, неоправданно высокая цена...

– Да, Пушкин писал: «Не приведи Господь видеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный»... Да кто ж велит, чтобы непременно бессмысленный и беспощадный... Но, дорогой вы мой, может что-либо, по вашему мнению, смягчить классовое противостояние? На мой взгляд, революционные преобразования неизбежны.

– Как знать... Могу лишь признаться, что мне стоило великих усилий на двадцать лет отсрочить исполнение реформенных предписаний. Совершить такую отсрочку... Я переболел, тяжело переболел революционными иллюзиями. Более сорока лет назад казахи восстали, одним из предводителей стал поэт Махамбет. Жизнь выдающегося народного заступника оборвалась трагически: как и Пугачева, народного вождя предали соратники... Как-нибудь подробно расскажу вам и о восстании, и о поэте, перескажу прозой его прекрасные мятежные стихи. Но вот динамика пушкинского «Делибаша» свойственна его стихам. Он обожал Пушкина и был с ним знаком.

– Так хорошо знал русский язык?

– Он лично был знаком с Пушкиным – не только с книгами. Даль в 1833 году в Оренбурге познакомил, а русский язык и еще несколько языков он использовал свободно. Однако вернемся к нашему социализму. Могу пожалеть, что грянувшие реформы все-таки происходили от власти...

– А мне очень жаль, что в нашем распоряжении так мало времени, чтобы поговорить, поспорить...

– Не скажите, Николай Гаврилович, мы и порассуждать смогли и даже отчасти поспорить... Пора теоретическим вопросам потесниться и уступить место делам житейским... Вот, кстати, и подсказка: видели, по дороге степенно вышагивают верблюды.

– Да, весьма впечатляюще... Отары мы повидали, конские табуны... гордое верблюжье племя... Про бедность-то здесь как говорить?

– Так ведь нашим верблюдам, хоть двугорбым, хоть одногорбым, кормов запа- сать не надо. Так и говорится «подножный корм». Бродят они по степи и питаются колючкой. Она и носит название «верблюжья». Верблюды сами забираются в от- даленное пространство, сами же возвращаются.

– Вот как... Но ведь бывают и неурожайные годы, когда воспоминания о колючке есть, а о самой колючке только и приходится, что мечтать.

– Свежая колючка для кормежки не годится – ядовита. Вот на другой год, когда яд высохнет и станет безвредным, тогда можно кормиться всласть. Этого добра в степи хватает.

– Вот о чем хотел спросить вас, почитателя общинного мироустройства. Бродят себе верблюды по степи, бродят... Но ведь вы говорили – и скотокрады есть?

– Не без этого. Есть случаи воровства... И не только верблюдов и лошадей. Однако что-либо скрыть в степи не так-то просто: земля слухом полнится. Вора, в конце концов, отыщут, и ему не поздоровится. И не забывайте: степняки – богобо- язненный народ, исполнение заветов шариата – поистине святое дело. Такие проис- шествия, я уже говорил, разбирают бии, среди них есть и мои родичи, так это самые справедливые и честные люди. Но по большей части достаточно закона предков...

– Наверное, молодежь не столь привержена...

– Почитание старших помогает сохранить традиции предков. А отступления в сторону зла... Они, скорее всего, неизбежны... Лишь бы поменьше... Меня трево- жит иное: кому-то в высших сферах пришла в голову мысль... Очень неразумная: окрестить всех без разбора в православие.

– Я, конечно же, не стану вас переубеждать, тем более, что заранее с вами со- гласен, просто расскажите, как вы переубеждаете власти. Они, само собой, взя- лись за дело с рвением, достойным лучшего применения... Хорошо хоть, не стали подражать святому князю Владимиру, не стали загонять кочевников в Каспийское море, чтобы в азиатской купели приобщить к православию... Для нас, православ- ных, равноапостольный князь Владимир – святой. Ему за это действие простились все грехи, но я за выбор самого народа, и насильственное обращение в иную веру ничего, кроме протеста, принести не может, а протест может оказаться кровавее любой революции.

– Да, до этого дело не дошло... Я по крупнице предотвращаю неладное усердие. Разговариваю, нахожу убедительные слова... Кое-кто из местного начальства по- нимает: отринуть веру отцов – и народу начинать жизнь сначала, подневольно принимая чужой закон, так все обрушится в хаос и неразбериху. Два поколения удалось оградить от соблазна отступить от коренного вероисповедания... А даль- ше – как судьба распорядится: надеюсь, укрепимся... В 1881 году я самому царю Александру III, в дни его вступления на престол, сказал это. Мне показалось, он

со мной согласился. По крайней мере, пока местные начальники разговоры ведут, но в эту сферу с нагайками не внедряются. Сколько смогу, буду держать такое положение в своем Междуречье.

– Ваша должность, ваше положение в губернской администрации ведь помогают вам в ваших благородных хлопотах?

– Положение, должность... И заслуги, вполне можно прибавить... Не особенно горжусь наградами, но в Петербурге, скажем, когда за участие в торжествах по случаю восшествия на престол Александра Третьего отмечен медалью, все регалии надеваю. Да и за ваш отпуск хлопотал при полном наградном параде. При представлении меня Александру Третьему я подарил императору миниатюрную казахскую юрту, ювелирное изделие из чистого золота. Есть у меня ювелир домашний – не раб мне – друг. Вот он каждую золотинку пристроит к произведению искусства. Честно скажу, я ему за ту юрту задолжал. Частями расплачиваюсь. Все, что мои женщины носят... И корпус для моих часов, и хитроумная цепочка – все его рук дело. Так бы жить да жить, но нет ведь, каждый день что-нибудь да напомнит мне о грядущих переменах, все время тревога – за людей, за вековой уклад, за веру. Не уцелеем мы в изоляции, да и нужно принимать позитивное. Я, например, хочу сменить кочевое скотоводство на оседлое. Резервы есть. Отары на тысячу овец в непрерывном поиске пищи содержать дороже, чем сотню овец на заготовленных кормах. Избежали бы падежа скота от бескормицы в снежные зимы. Надо пересмотреть все общинные отношения, разобраться с травостоем, построить загоны... Много чего надо, пока кочуем в замкнутом пространстве. Мы не Атилла, не гунны, не монголы, которые с Алтая прибежали за европейским золотом и голову сложили в Европе. Наше кочевье: зимовка – летовка.

– Можно только пожелать, чтобы вы, как здравомыслящий человек, хорошо понимающий, что нужно вашим землякам, как можно дольше оставались у кормила власти.

– Благодарю вас. По русскому присловью, ваши слова да богу в уши... Однако мне кажется, что мы увлеклись теоретическими разговорами, пора подумать и о чем-то другом. Думаю, вам, человеку из Саратова, природному волжанину, придется по душе рыбалка... Занятие беспроектное: осетра, конечно, не добудем, но без улова не останемся. Вспомните, как ловили рыбу на родине, в детстве. Ведь ловили, признавайтесь. И вкус свежей ухи вам хорошо знаком...

– Я – тот еще рыбак. Впрочем, ваше предложение очень соблазнительно. Приглашаюсь.

– А сейчас нас уже приглашают к столу, потом отдохнем и займемся поисками рыбацкого счастья.

8. ЧЕТВЕРТЫЙ ДЕНЬ СВОБОДЫ

Третья ночь прошла в ничем не потревоженном спокойствии, словно в дальнем-предальнем детстве, из которого Чернышевский в круговерти почти что круглосуточных университетских занятий, в бесконечных журналистских хлопотах и утомительнейшем чтении нескончаемых корректур, в разочаровавшем зарубежном путешествии стал забывать. Но вот стоило попасть под ласковый, ненавязчивый кров неожиданного доброго знакомца, сразу и немногословно ставшего близким другом, как начали бледнеть, стираться из памяти горькие подробности гражданской казни, нескончаемого каторжного бытия.

От легкого, обычного предутреннего шума, по которому можно было сразу догадаться, что проснулся Николай Гаврилович в доме, где царит нешумное под-

чинение давным-давно заведенному дневному и ночному распорядку, у гостя возникло теплое предчувствие долгого хорошего дня. Накануне он и хозяин, не жалея времени, с обстоятельностью и въедливостью знающих себе цену мастеровых, обсуждали предстоящую поездку на верфи Астраханского адмиралтейства.

Макаш тонкими, уверенными линиями набрасывал схему расположения верфей, показывал, в каком порядке построены здания и сооружения Адмиралтейского городка, даже изобразил, выказав неплохую сноровку начинающего рисовальщика, достроенный, получающий сейчас окончательную оснастку морской корабль готовый вот-вот сойти со стапелей в каспийские морские воды.

За четкими карандашными эскизами хозяина дома Чернышевский, бережно обращаясь с захлестывающим память изобилием впечатлений, которых за последние три дня набралось довольно-таки много, видел Волгу раннего саратовского детства. Коля Чернышевский с колыбели страстно влюбился в водную стихию. Причем, уже повзрослев, приходя на низкий волжский берег, нежно, с доброй иронией (почтительность по отношению к великой реке не мешала необходимому юмору) приговаривал: «Во всех ты, душенька, нарядах хороша!»

На воду, как и на огонь, на могучую неостановимость Волги, так же как и на приволжские степные закаты, долго-долго догорающие над дальней степью, можно смотреть бесконечно. А река во дни весеннего или, что совсем невесело, осеннего ненастья, во времена тяжело зимние, когда близко-близко придвигается к земле беспросветное небо и никаких, даже самых бледных и малоцветных закатов нет и в помине, – такая замкнувшаяся в грустном одиночестве река намного меньше нравилась Чернышевскому.

Замерли у причалов корабли Волжской флотилии, рассыпались под защиту высокого берега лодки и лодчонки... Какие далекие воспоминания, и с какой яркостью возвратились они к Николаю Гавриловичу, кратковременному гостю правителя Приморских округов! Но вот что знаменательно. Неисчерпаемость, неоглядное множество нынешних впечатлений, которые сейчас понемногу перебирал Чернышевский, помогли возвратиться в стихию пылких юношеских размышлений. С понятной и оправданной горечью от несбывшихся мечтаний Николай Гаврилович признавал наивную возвышенность сочиняемых на заре туманной юности стихотворений. Тогда саратовскому юноше казалось, что стихи, литература, философские и публицистические очерки способны переменить социальное устройство земли русской, исправить жестокие и неразумные нравы, преодолеть бедность и неустроенность российской действительности.

Теперь, в зрелые годы, постаревший и расставшийся с иллюзиями юности Чернышевский готов был выслушивать молодых мечтателей, однако более всего бывшего социального фантазера волновало искусство будущего. После того как Макаш Бекмохаммедович помог своему гостю вдоволь насладиться рыбной ловлей – самым мирным занятием на свете, Чернышевскому приснился поэт. Именно этому незнакомому служителю лиро-эпической музыки бывший каторжник через тридцать лет доверяет сказать необыкновенное слово.

Не хотелось изменять тому, во что истово верил в молодые годы, однако ничего не поделаешь: теперь в «искусство для искусства» прежней веры нет. Немало в прежние времена прежде и устно, и письменно он рассуждал на отвлеченные темы. Ныне, при свете позднего возраста, прежние те пламенные, казалось, логически безупречные доводы, крайние взгляды показались представились Чернышевскому совершенно праздными. Начисто пропало желание с кем-то и с чем-то бороться, соглашаться или возражать, спорить, убеждать, защищать теоретические построения. Нет, крутые горки какого хочешь сивку рано или поздно

укатают. Сейчас надо немедленно признать потомка за единомышленника, за продолжателя, за ревнителя убеждений славной юности. Необходимо тотчас с малейшими подробностями записать вещей сон о сподвижнике, с которым глаза в глаза увидеться не суждено.

Ах, нет, нет... О какой-такой записи может идти речь, как ее сохранить от чужого, ревнивого в надзоре и слежке глаза? Конspirатор несчастный, скрытник вилюйско-астраханский... Понятно, что ничего записывать не надо, ведь у каторжника архивное хранение – общее с жандармским управлением. Надзора, по точному пушкинскому определению, «кропотливого» никак не избежать, только в Михайловском надзор осуществляла Арина Родионовна, а в Астрахани – полковник Головин. А со стражем имперского порядка шутки плохи.

Сам же Чернышевский совершил верный поступок – отказался от намерения записать свой «пятый сон». Это яркое, как божий день в ясную погоду, сновидение нынешней ночи о герое столетней будущности сохраняется в голове. Но позаботиться о сохранности все-таки нужно, и лучшее средство – стихотворная речь. Ритм поможет удержать подробности.

И Николай Гаврилович принялся за труд, хорошо знакомый по пребыванию в петербургском тюремном замке: не прикасаясь к бумаге и карандашу, мысленно, с превеликим напряжением переключивал вчерашний сон картину за картиной в стихотворные строки. Бесписьменного поэта в каждой строке поддерживали рифмы. Завершая строку, они укрупняли мысль; весь ход воспоминаний и размышлений складывался более расширительно, значительнее; прозе, хоть дневниковой, хоть эпистолярной, подобные горизонты не по плечу.

Сновидения – какая чудесная благодать, милостиво дарованная жертве несправедливой и несправедливой судьбы. Впрочем, почему жертве? Сам он жестокой и несправедливой судьбе не покорился, от своей веры в добро не отрекался. Никто не может упрекнуть его в предательстве, покорности мучителям, позорном отступничестве. Да, голова стала седой, однако ни перед кем он ее не склоняет.

Только перед святой единомышленницей «Волгой Саратовной», женой, родным человеком, не оставившим его в беде и горе. Она всегда понимала Николая Гавриловича с полуслова. Конечно же, эти особенные, рожденные в астраханские отпускные дни стихи предназначались прежде всего для нее, тем не менее пусть первым слушателем станет уважаемый Макаш Бекмохаммедович. Правитель Приморских округов – натура, бесспорно, поэтическая, но и политически, гражданственно бескомпромиссная при всей своей неперменной и легко объяснимой осторожности.

Умный, европейски образованный, проницательный и аристократически обаятельный чиновник весьма нравился Чернышевскому, ему очень импонировали его доброта и прямота.

Работа в уме начала постепенно продвигаться. Стихи, сочиненные невольным импровизатором, почти без затруднений воспроизводили сложный в сменных картинах сон. К семи часам, когда весь дом проснулся, когда Николая Гавриловича пригласили к завтраку, каждая строка удивительным образом откристаллизовалась в окончательный вариант.

Память и в преклонные годы не подводила Николая Гавриловича: и сейчас, пока собирали на стол, пока он умывался и потом усаживался за трапезу, он с удовольствием про себя, по-ученически шевеля губами, проговорил внезапно сложившиеся строки. Убедившись, что заново сочиненные стихи он воспроизводит без пропусков, Чернышевский, не откладывая дела в долгий ящик, прочитал «плоды любимых дум» тому, в чей вкус, в чью доброжелательность он уважительно верил.

9. СОН О БОЛЬШОМ ПОЭТЕ

Удержат чудесный сон
Можно складными стихами,
Чтоб дежурный «фараон»
Не продрался между нами,
Не придал бы разговору
Запрещенную крамолу,
Или, прямо говоря,
Покушение на царя.

Под надзором двадцать лет.
Сны бывают, бога ради.
Времени почти что нет –
Пару слов черкнуть в тетради.

Сон последний опишу.
Будто в Астрахани знойной
Я по городу брожу,
Брежу встречу достойной.

Так, идут навстречу мне
Люди будущих столетий.
На неизвестной земле
Дети грозных лихолетий.

Кто они, как их зовут
И какой исполнен труд,
И кому они молитвы
В смертной муке воздадут.

Здравствуй, милый мой наследник!
Нынче я из сил последних
Разберу твои стихи
И покаюсь за грехи.

Я искусство для искусства
Никогда не понимал –
Слезы, лирику и чувства
Оставляю без похвал.

Ты шагнул в такие глубины
Древней и святой Руси,
Ни Господь ли приголубил,
Или?.. Боже упаси!

От Руси на всю планету
Роковой свершил набег.
На вопросы без ответа
Ты растратишь краткий век.

Председателей планеты
Слишком много – пруд пруди...
Не пренебреги советом,
Предка строго не суди.

Кто я? Выкормыш утопий,
В жажде западных подобий.
Грустно на тебя гляжу.
Ты в таких вопросах дока,
В этом я не вижу прока,
Но тебя не осужу.

На тебя мы только глянем –
Сразу виден будетлянин.

Я ведь тоже в ходе странствий
Путал время и пространство.
Хочешь их свести – своди!
Да не жди побед мгновенных
От людей обыкновенных.
Даже злобно преткновенных
Себялюбцев не суди.

Ведь словарь твой переросток –
Больше Даля – и не просто
С ним управиться зараз.
Это не при нашей жизни,
Только в будущей отчизне,
Может, твой услышат глас.

Люд не будет государем.
Самодержец – не народ.
Бог велик, а чем отдарим,
Коль спасется русский род.

Поэт

Я любовью растревожен.
Я готов себя распять.

Чернышевский

Без любви мне жизни тоже
Не постичь и не понять.

Поэт

Я любого косоглазца
Узнаю в своей душе.
Во всеядности признаться
Я готов – созрел уже.
Но раскаянья не будет,
Только в будущность гляжу:

Магомета, Яхве, Будду
В каждом Боге нахожу.

*

Давно Великим Посвященным
Я посвятил труды и дни,
Но, идолами обольщенный,
Языческие жег огни.

Мне греческие манускрипты
Несли красу и волшебство,
Науки древнего Египта,
Азийских капищ колдовство.

Меня Орфей и Аристотель
Качали в зыбке с первых дней.
Я Азию познал в полете –
Как Искандер царил над ней.

Как я хотел связать навеки
Александрию и Бомбей!..
Христос с Озирисом и греки
Пленялись волею моей.

Еврейский мир свинцовоухий
Камнями Бога побивал.
Я, не обидевший и мухи,
В христовой шкуре побывал.

Я жил в безвременном пространстве,
Беззвездно простиралась ночь
Моих надежд, фантазий странствий.
Я жил во времени без почв.
А родина моя прекрасна –
Малодербентовский улус.
Я ежедневно, ежечасно
О ней молюсь, молюсь, молюсь.

Кто бог мой? Будда иль Христос?
И кто оплот мне и помога?
Хоть ты ответь на мой вопрос.
Но я младенец перед Богом.

Скрыпят тележные колеса...
Знать, в поиске не я один.
Сначала наплодим вопросов,
А кто ответит, поглядим.

Чернышевский

Вот не знаем, где находим.
В судьи людям не гожусь.

Дерзок ты и превосходен.
В целом я тобой горжусь.

В Астрахани два музея
Люди нам соорудят.
Наберутся ротозеи –
К нам придут и поглядят.

Мы не пропадем безвестно,
Нам в грядущем есть простор.
Щедро руку царь небесный
Здесь над нами распростер.

Бог российский сердобольный
Подарил нам град престольный:
И кочевник подневольный,
И кочевник сам собой
Здесь отдышимся, осядем,
Себялюбие осадим
Отличенные судьбой,
Где тысячелетний Каспий
На краю пустыни распят,
Где Великая река
Упокоит на века.

Пред причастием говея,
Должно службу отслужить.
Нашей встречи апогея
Никому не пережить.

– Это не пятый сон, – сказал хозяин. – Я ждал выхода повествования в счастливую будущность: кто и кем будет управлять и судить. Такие сны, какой вы мне пересказали, я вижу ежедневно: они не меняют судьбы. Я предполагал, что после четвертого сна должны быть предначертания. Я знаю, чего мы хотим, не знаю, как это делать.

Чернышевский сдержанно рассмеялся:

– Пятый сон невозможно уложить в написанные стихи. Он сберегается в моем сознании как нечто драгоценное и неповторимое... Это не случайный сон одной ночи, это – продолжающееся сновидение, словно роман, печатающийся по главам. Этот роман-сновидение я вам обязательно расскажу, как только соберусь с духом. То, что я вам прочел, приснилось мне нынешней ночью. Я будто бы встретил поэта из ваших мест, родившегося в Малодербентовском уезде. Проснулся счастливым и сразу решил пересказать вам странный сон. Из всего этого отчасти получился бродячий цирк-шапито. Я обожал в детстве гастрольные цирковые представления, но мне, к сожалению, не дано умение доставать из шляпы фокусника голубей и кроликов, букеты цветов и шелковые ленты, а вот мой нечаянный сон достал и пересказал.

Признаюсь вам без утайки, что сам я ни при каких обстоятельствах не соблазнюсь участием в революционных событиях. Этот выбор я добыл всей своей жизнью. Самодержавие не уцелеет. Для меня это ясно. Как самодержец

решительно упразднил ханскую власть в Букеевской орде, так народ упразднит самодержца. Теперь-то я доподлинно знаю, что полного счастья и довольства это никому не принесет. Страшно предвидеть, однако жертвы будут невообразимые. Такова жестокая действительность, так что лучше замедлить этот кровавый процесс, пока русский христианский народ хоть сколько-нибудь не пройдет по пути просвещения. Сейчас меня крайне заинтересовало искусство для искусства. Я пропустил в свое время, в молодости не оценил по достоинству ни Майкова с Фетом, ни Мея с Полонским... Зато как теперь читаю! Читала бы этих тонких стихотворцев молодежь, меньше верила бы в революционно-террористические призывы. Мне интересна история. Но к известным историческим трудам подхожу весьма критически, потому что, немало зная о прошлом человечества, о многом составил собственное мнение. Я много размышляю о вере в бога – это по наследству от отца: все больше убеждаюсь, что вера – единственный ресурс, преобразующий человека, приближающий его к высокому предназначению.

Вы, Макаш Бекмохаммедович, простите меня за этот невинный фокус, когда вместо ожидаемого предмета я вытащил из-за пазухи стихи о великом поэте. Но он грядет, и я, может быть, даже доживу, чтобы убедиться в этом воочию. До всемирного благоденствия во дворце не доживу, к тому же уверен, что благоденствия полного быть не может. Пятый сон – за мной!

– Прочтите-ка мне еще раз это ваше ночное сочинение. Я попробую его обдумать. Полагаю, что правильно поступаете, не оставляя письменных следов своих слов и мыслей. Жаль, конечно, потомков: возможно, им бы это пригодилось

– Спасибо вам. Эта поэмка жжет меня нынче. Я поистине рад, что вольный степной воздух и несколько дней полной свободы привели меня на возлюбленные грядущие достижения человечества и что я – нужная спица в колеснице – посильно участвую в этом.

Чернышевский прочел «Сон о большом поэте» еще раз, и они поднялись от затянувшегося завтрака, когда солнце прошло четверть небесного пути.

– Самое время выезжать, – заключил хозяин дома.

После непродолжительного прощания с домочадцами Макаша, объятиями и рукопожатиями, они сели в коляску.

– Николай Гаврилович, простите за откровенное признание, но после четвертого сна Веры Павловны, по моему читательскому разумению, должно было быть его продолжение. Что за будущность видится в пятом сне? Мне бы хотелось увидеть всеобщее торжество единства всех людей.

– Выслушайте мои возражения, уважаемый Макаш Бекмохаммедович, и отнесите к ним без предубеждения. Вы склонны к социальному оптимизму, как я полагаю. О себе, получившему не только университетское, но и тюремное, и каторжное образование, подобное сказать не могу. Думаю, что теперь желанное вами единство невозможно, утопические построения молодых лет неосуществимы.

– При нашем знакомстве, когда речь зашла о вашем утопическом романе, вы заметили, что пятый сон уже видели. После к разговору на волнующую меня тему вам вернуться не пришлось. Может быть, сегодня... Я спешу вернуться к ненаписанному романному сну, потому что завтра, к сожалению, истекает срок вашего отпуска...

– Убедили, Макаш Бекмохаммедович. Сон, о котором зашла речь, я действительно видел и, кроме Ольги Сократовны (от нее у меня нет тайн), никому не рассказывал. Вам расскажу, потому что чувствую родственную душу. Возможно, разочарую вас, невольно обману ваши ожидания, но ничего сочинять, придумывать

не желаю. А мне приснились не утопические видения без корней, а исход утопии, неизбежное и горькое разочарование.

На наших глазах жизнь становится сложнее и сложнее, место безоглядного восторга перед успехами цивилизации и фантастических проектов уверенно занимает правда жизни, стальными канатами прикрепленная к большой истории человечества...

К Макашу и Чернышевскому подкатила форсистая коляска с черным кожаным верхом, сейчас до отказа откинута, с лаково блестящими черными же крыльями, с широкими для удобства седоков ступеньками; спицы отсвечивали чистым некрашенным металлом, колеса окаймлялись по кругу яркой красной краской.

– Какой нарядный экипаж, – одобрительно оценил Николай Гаврилович коляску, присланную для Правителя.

– Нам в нем придется провести не менее трех часов.

В дорогу тронулись незадолго до полудня.

По суше одноконная коляска катилась беспрепятственно, и вознице в синей шелковой рубаше и бархатной куртке не приходилось слишком рьяно размахивать кнутом. А через неширокие протоки перебирались при помощи канатного парома: по обе стороны его тянулись сетчатые металлические загородки и стояли дюжие молодцы с толстыми баграми – один конец каждого был окован железом – и помогали, когда надо, с силой отталкиваясь от неглубокого дна, передвигаться от одного берега к другому по протянутой с берега на берег иногда заякоренной цепи, иногда каната. Когда навстречу путникам с такого парома сошел небольшой табун лошадей, несколько коров и отара овец, наши путешественники оценили мускульную силу обслуги, расположившейся по обоим берегам протоки у концов паромной переправы. Чернышевский с удовольствием изучал устройство рычага, на который был надет отрезок бревна в качестве огромной катушки с намотавшимся канатом. Принцип был нехитрый, похожий на подъем ведра из колодца. Только в горизонтальном направлении. Дюжие парни укрепили багры в специальных пазах и молниеносно, плеща ведрами на пол, смыли следы животного страха со всей площади поперечного «судна».

У Макаша и Николая Гавриловича даже не было необходимости покидать коляску.

Такое обстоятельство очень пришлось по душе Чернышевскому:

– Вам, очевидно, такое путешествие не внове, Макаш Бекмохаммедович, мне же начало нашей поездки напоминает бурлаков на Волге.

Макаш согласно кивнул, но разговора не поддержал. Действительно, подобный способ передвижения был ему привычен, как жителю Петербурга прогулка по Невскому проспекту или по Миллионной.

– Знаете, – с дружеской любезностью обратился правитель к Николаю Гавриловичу, – к поездкам такого рода отношусь без особого волнения, порой даже не очень замечаю, как пробегают положенные для переезда несколько часов. А все почему? С одной стороны о себе не дает забыть Каспий с его могучим чистым влажным дыханием. Дальний морской шум могу неустанно слушать часами. Какие бы заботы ни отягощали меня, какие бы тревоги и переживания ни нарушали хорошее настроение, ближее или дальнее присутствие родного Каспийского моря помогает обрести желанное успокоение, возвращает чувство душевной полноты. Понятно, что когда седоголовый красавец бушует, когда ближе к берегу прибываются белоснежные лебеди, а тюлени вообще не показываются на морской поверхности, тогда наслаждаешься иным: мощью природы, ее непокорностью и независимостью.

– Вы поэтически воспели Каспий...

– Да, нет никакой тоски по дальним странам, когда наши предки-кочевники оставили в наследство красоту великого древнего смысла, богатые рыбные запасы... Лишь бы не мешали исконным обитателям Прикаспия справедливо пользоваться этими законно принадлежащими богатствами... Впрочем, Николай Гаврилович, мне кажется, что не меньше древнего Каспия вам будут интересны верфи Астраханского адмиралтейства.

И вправду, с коляски, то катившей по прикаспийской суше, то переплывавшей на пароме очередную протоку, давно можно было наблюдать хлопотливую жизнь протекающую на берегу. Степенно проходили два мужика. У одного за поясом рубахи и в руке два топора, предохранительно обмотанных пестрыми тряпицами. Второй нес на плече, придерживая за рукоятку, двуручную пилу, аккуратно завернутую в серую холстину. Часть деревянного забора вокруг верфи лежала на земле, рабочие отрывали поврежденные планки, прибивали к поперечинам новые, здесь же другие мастера окунали кисти в ведра с коричневой масляной краской, и вскоре нельзя было отличить старые планки от новых. На земле, положенные набок, расположились катера и большие лодки, с обнаженными ребрами шпангоутов и почти доверху зашитыми бортами, неподалеку виднелись бухты смоляных канатов, сложенные паруса, отдельно хранились весла, прочий такелаж. Из мастерской слышались звуки работы по металлу, удары молотков; в раскрытые двери стоявшей особо кузни доносились тяжкие удары кузнечного молота, виднелись красные отблески огненной работы.

Поодаль рабочие аккуратно складывали свежераспиленные доски, и каспийский ветер время от времени подымал вверх светло-желтые опилки. И как же порадовала Чернышевского эта картина размеренного бытия, где никто не сидел в безделье, не видно было никого, кто бы бездумно смолил опасную сигарку, и эта многофигурная композиция осмысленного полноценного труда, как показалось Николаю Гавриловичу, отчасти напоминала многолюдные полотна Брейгеля, живописавшего занятия крестьянского нидерландского народа.

Наконец, правитель и вольноотпущенник добрались до желанной пристани, с которой они и должны были назавтра отправляться в дальнейший путь. А пока прошли в гостиницу, чтобы отдохнуть, поужинать в гостиничном ресторане и позже с ресторанного балкона посмотреть на ежевечерние гуляния.

После ужина хозяин гостиницы «Пристань», полнеющий татарин средних лет, с бритыми щеками и подбородком, в черной тубетейке, расшитой тонкими серебряными нитями, сам, из исключительного почтения к правителю Междуречья, принес на балкон два прочных соломенных кресла с высокими спинками. Макаш и Чернышевский, отяжелевшие после обильного ужина, придвинули кресла поближе к гладкому деревянному барьеру.

«Театр, да и только, – одобрительно подумал Чернышевский. – А мы с моим доброжелателем прямо-таки в императорской ложе Мариинского театра. Не удивлюсь, если перед нами, откуда ни возьмись, появится томная, пышно и многоцветно наряженная певица и, не дождавшись оперного оркестра, запоет: "Приди ко мне в чертог златой"».

Однако Николай Гаврилович этим насмешливым безмолвным замечанием воли не дал, тем более что на пространстве перед гостиницей, освещенном электрическими лампами, горевшими по бокам балкона, появились первые посетители. Электрические лампы были гордостью хозяина гостиницы – на извилистых улицах Астрахани горели фонари керосиновые, а иногда еще встречались заправленные тюленьим жиром, который быстро прогорал и без разбора ранга прохожего брызгал в него, пачкая платье. Об этом с достоинством передового человека рассказал

владелец гостиницы гостям. Вечерним жукам и разным мелким мошкам яркие лампы пришлись по вкусу, и если бы огонь не был защищен красивой частой проволочной сеткой, то на балконе происходило бы непрерывное самосожжение разнообразного крылатого племени.

Тем временем к первым гуляющим прибавлялись новые лица. Преимущественно молодежь. Люди в возрасте появлялись редко и держались обособленно и поодаль. Молодые люди европейского и татарского обличья не сразу образовывали малые компании. Сначала они в одиночку или парами пересекали площадку, которая заранее была тщательно размечена гостиничным дворником и даже обрызгана водой из большого, трактирного размера, чайника. Девушки и парни любезно, не произнося ни единого слова, позволяли собравшимся вдоволь налюбоваться яркой расцветкой вечерних нарядов: платья и платки изукрашены были все больше пламенными розами, пионами; мужские одежды – брюки, пиджаки да фуражки – сочинялись поскромнее – преобладали благородно-серые и умеренно-черные краски.

Впрочем, пристанские модницы и модники наперебой дерзали как-нибудь особо отметиться в вечерней праздничной толпе: не магазинный, вышитый с нерядовой придумкой пояс, косынка, которую словно минуту назад расписывал талантливый художник, серебряные, с узорной чеканкой, браслеты, кольца с бирюзой или рубином, чудесные сережки с изумрудными или агатовыми капельками... Само собой и туфельки не отставали от платья и косынки.

У парней возможностей украшать свои выходные одежды столько не имелось. Они догоняли подруг, прикрепляя красный цветок к пиджаку или куртке, но главным образом – начищая передки и голенища сапог до слепящего зеркального свечения. К сожалению, подобному ослепительному совершенству, приобретенному с помощью ваксы и щетки, долго продержаться не суждено. Но это и не важно: главное, показаться в свете, себя показать и на людей посмотреть.

Над гуляющими от горизонта до горизонта распростерлось небесное пространство с самыми крупными звездами, словно страницы астрономического атласа. На скамейки, где еще с начала гуляния усаживались появлявшиеся молодые люди, присели казахские девушки в темно-вишневых и изумрудно-зеленых бархатных камзолах.

Хозяин принес домбру, и одна из девушек, поглядывая в сторону балкона гостиницы, спела что-то боевое и задорное.

Чернышевский обратил вопросительный взор на Макаша.

Он объяснительно перевел:

– Она произнесла приветное слово в честь дорогих гостей. Просит, в знак доброго знакомства, принять в подарок мелодию, сочиненную нашим Курмангазы, которого вы хорошо знаете, чьи песни известны и дороги каждому степняку.

Николай Гаврилович пригласил девушку подняться на балкон. И слушал незнакомую казахскую музыку с неподдельным интересом, а когда домбристка прощально бросила пальцы на две струны, к ней неспешно подошел Макаш и положил в ее ладонь несколько серебряных монет.

Чернышевский посмотрел в сторону светловолосой русской девушки. Она догадалась о смысле молчаливого взгляда, приобняла соседку. Обе они, похожие друг на друга, словно сестры-близнецы, были в новомодных длиннополых платьях, в одинаковых некрупных серебряных серьгах и тонких ожерельях. Тряхнули кудрявыми головами две симпатичных девицы и нежно-нежно, проникновенно, как для одного человека, выдохнули: «Ах ты, ноченька, ночка темная...» Очень подошла эта народная русская песня ко всей теперешней обстановке. Как согревала здесь и сейчас все сердца высокая, бескорыстной русской душой рожденная мелодия, как

неизъяснимо и пленительно овладевала каждым... Горячими слезами наполнились глаза Чернышевского, опустил голову Макаш... Тишина наступила, в которой слышались дальние звуки моря, а на горизонте, словно в другой стране, бесконечно и взволнованно-мятежно метался под всегдашним, никогда не стихающим на морском берегу ветром огненный треугольник костра, постоянно меняющий очертания.

Чернышевский подумал о своей измученной жене. В год появления Николая Гавриловича в Астрахани открылся зимний театр. Богатый рыбопромышленник Плотников построил каменный театр, которым гордились астраханцы-патриоты Чернышевский без театра мог обойтись. Он полагал его забавой для молодежи и женщин. Но иногда сопровождал Ольгу Сократовну, однако о спектаклях не судил, потому что, сидя в ложе, просматривал переписанные секретарем Костей рукописные листы «Истории» Вебера.

Гимназист Костя, на правах переписчика и секретаря жил в квартире Чернышевских, и уж так восхищался каменным театром и его представлениями, что не упускал ни одной возможности, захлебываясь от восторга, рассказывать о своих впечатлениях и умолять своего работодателя посмотреть театральные спектакли. Николай Гаврилович снисходительно относился к восторгам юноши, но никак не находил времени выполнить его просьбы.

Однако то, что сейчас происходило на пристани, было жизнью, а не представлением, и Чернышевскому было жаль, что Ольга не видит этого великолепия. Она – любительница зрелищ и нарядов – вообще томилась в Астрахани, этом «непроходимом захолустье», где, как она написала сыновьям: «Мы похоронены заживо».

Импровизированный концерт, непредусмотренный и непредвиденный, продолжался. Сначала тихо, будто спрашивая разрешения, послышалась гармошка. То была мгновенно узнаваемая татарская музыка. С лукавинкой особенного, подчеркнутого мягкими всхлипами стиля. Николай Гаврилович и раньше, на саратовской земле, не раз и не два слышал плавные, смелые и настойчиво зовущие к танцу, к веселью, к чистой печали казанские и чебаркульские мотивы. И какое удовольствие сейчас доставили ему два парня в туземных тюбетейках, которые, согласно и разудало подбадривая друг друга, отважно запели «Яратам, красавица, яратам...»

Праздничный вечер еще не кончился, когда Макаш и Чернышевский покинули уютное логово соломенного убежища уютные соломенные кресла на свежем воздухе и в сопровождении хозяина гостиницы отправились на ночлег в мирные покои. Но и после полуночи горели лампы, облепленные неразумной прикаспийской мошкаррой, а гуляющие на пристани вслушивались в казахские, русские и татарские песни и мелодии. Может быть, и танцевали... Путешественников, крепко утомленных четвертым свободным днем, сморил такой крепкий сон, что нельзя было рассчитывать ни на пятый, ни на двадцать пятый сны.

Утром замечательно выспавшиеся, выкушавшие по стакану сметаны и куску исконно русского пирога с зеленью, рисом и яйцом («Повар старался в вашу честь», – посмеиваясь, заметил Макаш. «Угодил, угодил», – быстро ответил Чернышевский), путешественники подошли к берегу. Здесь волны уже раскачивали плоскодонку, один матрос сидел в центре на веслах, другой с шестом на корме. Казалось, именно он перевешивал корму, потому что нос был довольно высоко задран.

На поворотах протоки кормовой укладывал шест и брался за руль, укрепленный на корме. Теперь путешественникам предстояло добираться по неглубокой воде до самого синего моря, а там перейти на катер и на нем устремиться в открытые всем ветрам воды. И послышались Николаю Гавриловичу из саратовского детства, из прочитанных тогда завлекательных книг о морских путешествиях бодрые матросские голоса: «Свистать всех наверх!», «Поднять паруса!» и «Вижу землю!».

10. ПЯТЫЙ ДЕНЬ

По морю Гирканскому, Каспийскому,
Хазарскому, Хвалынскому

«...потечеть Вьлга на вьсток и вьтечеть седмию-
десять жерел в море Хвалынское».

Повесть временных лет. 1118 г.

Небольшая команда судна, на один день переданного в распоряжение царского чиновника и временно свободного государственного преступника, напомнила Чернышевскому артель бурлаков с широкими нагрудными лямками, хорошо знакомых по саратовской жизни. Только здесь корабельная команда не волокла тяжеленную баржу по волжскому берегу, а управлялась с посудиною, не покидая палубы. Николаю Гавриловичу понравилось, что многие облачились во вполне затрапезные рубахи и штаны, однако были преисполнены достоинства и независимости и не очень отличались от капитана. Разве что тот уверенно-барственно покрикивал, да голову его прикрывала не войлочная шляпа, а капитанская фуражка.

Макаш поздоровался за руку с капитаном, недолго потолковал, напомнив, что русскому пассажиру хорошо бы показать прибрежные острова, затоны и пристани. Потом все спустились в капитанскую каюту, тесное помещение, в котором путешественников-экскурсантов дожидался старательно накрытый стол. Изобилие – черная икра, ярко-желтое сливочное масло и молоко, подрумьянившиеся ломти жареной рыбы, казахские деликатесы – казы, чужук, сладкий, нежно похрустывавший «хворост».

Внесли кипящий самовар, блистающий парадно начищенными медными боками, поставили чашу с медом, молочник. Фарфоровый чайник, из носика которого возносился вверх светло-белесый парок, как и положено, занял место наверху самовара. Чернышевский уважительно посматривал на изобилие, о котором и мечтать было невозможно ни в Петропавловской крепости, ни в захолустном Тобольске, ни в богоспасаемом Вилюйске. Но отнесся к меню в стиле античного хлебосола Лукулла совершенно спокойно.

Макаш любезно усадил Николая Гавриловича за стол, собственноручно налил чашку черного чая, плеснул чуточку молока, прибавив: «Дальше вы сами... Чувствуйте себя, как дома». Придвинул миску с темной массой густого, как пастила, меда, сказав: «Отведайте, дикие пчелы поделились». Спросил, слегка постучав ногтем по стакану: «Может быть, немного...?»

– Нет нужды тревожиться, – успокоил Макаша Чернышевский, – давным-давно я полностью отказался от горячительного, да и вообще поклонником Вакха никогда не был.

Дверь каюты была широко распахнута, за бортом шхуны виднелся водный простор, по которому одна за одной бежали волны, не исчезая, оставаясь на месте. На палубе всюду, куда ни сунься, царил жар, солнце палило нещадно, и спрятаться было негде. А каюта с открытой дверью, с распахнутыми окнами воспринималась землей обетованной, спасительным царством, в котором сквозняк сражается с каспийским знойным воздухом.

– Смотрю на этот широкий синий простор, грозный и отрадный одновременно, бесконечно притягательный для взора, символ беспредельной вечности и – странно – мне кажется, что я когда-то видел эти темно-синие воды, этот голый песчаный берег, сидел в каюте, открытой всем ветрам, такого невзрачного и симпатичного суденышка...

– Это нестранная странность, дорогой Николай Гаврилович: и со мной точно так же происходило и происходит. Особенно после дальних поездок в Петербург, прочие города, российские и иностранные. И все же, где вы могли ранее видеть наш астраханский берег и неповторимые бэровские бугры?

Некоторое время Чернышевский негромко и необидно посмеивался. То ли над собой, то ли над собеседником, то ли над общей душевной чертой, а именно – если выражаться строгим ученым слогом – над обманным впечатлением – дежавю, время от времени подступавшем к каждому.

– Да, уважаемый Макаш Бекмохаммедович, видел... видел во сне, в пятом, он случился за гранью моего романа. Мне снился мой дальний потомок, появившийся на свет спустя годы и годы, через столетие после меня. Мистическое происшествие – недаром, по мнению просвещенных французов, русские люди превосходно чувствуют себя в душевно смутной, подальше от логики, стихии. А галльские предпочтения – разум, Монтень, Паскаль. Так вот, своего потомка я чувствовал как живого, во плоти и в яви, человека, разговаривал с ним, как сейчас разговариваю с вами. Впрочем, лучше касаться этой темы, имея под ногами твердую почву, а не палубный настил. Давайте доберемся до берега. Сейчас лучше смотреть во все глаза, разглядывать и запоминать. Здесь-то я в первый и последний раз, да, пожалуй, впервые полностью свободен. Не хочется потерять ни одного мгновения вольного чувства.

– Хорошо, оставим пока данный предмет до возвращения на землю. Позвольте спросить... задать, может быть, не очень деликатный вопрос. Могли бы вы сменить свою веру?

– Не нахожу ваш вопрос не деликатным. Вера в бога – эта тема для русского человека никогда не может быть решена окончательно, даже если однажды он решит, что разобрался с ней до последнего. Скажу только, что с недоверием отношусь к смене природного, первоначального вероисповедания. Либо это стремление приспособиться к той человеческой среде, в какой вы оказались, скорее всего, вынужденное, неискреннее. Либо нечто насильственное.

На каторге мне довелось повидать фанатических людей. Восстание в Польше произошло спустя год после того, как меня арестовали. После него Сибирь заселили ссыльными поляками – фанатичными католиками и столь же непоколебимыми в вере евреями. Они и под пытками не изменили вере отцов. Однако я не осуждаю перехода в иную веру людей малообразованных.

– Да, есть такое понятие – вера отцов. Ведь вы сами, Николай Гаврилович, из религиозной семьи...

– Отец мой, Гавриил Иванович – русский священник, протоиерей. Исконная русская вера исповедовалась им с полной искренностью и непритворной любовью. Сколько евреев он крестил в православие! Нередко вместе с новообращенным выбирали христианское имя в святцах, а фамилия применялась на всех одна: Гаврила Иваныч наделял крещеных иудеев собственной. Так что людей с фамилией «Чернышевский» набралось больше, чем наших настоящих родственников, людей одной крови. Сама же фамилия образовалась от названия родного отцовского села Пензенской губернии – Чернышова.

– Жив ли ваш родитель? Расскажите о нем.

– Умер в 61-м году. Он, кстати, тоже не родился Чернышевским: наша семья не имеет семиколенной родословной. Отец происходил из крепостных, страстно стремился к образованию, зачитывался богослужебными книгами. Когда начал учиться в Саратовской духовной семинарии, тогда и наделили отрока ныне подозрительно звучащей фамилией «Чернышевский». Я отца дружески поддразнивал, называл воинствующим идеалистом.

– Давно вы ли расстались с родительским домом?

– Мне только-только исполнилось тридцать три года, когда умер отец. Возраст Спасителя. Как не хватало мне божественной поддержки, сохранения душевной бодрости. Сыну-то Божьему было даровано знание, что я никаких преступлений не совершал, не за что меня преследовать и казнить. Эта вера и явилась единственной помощью в сопротивлении клеветническим обвинениям и преследованиям.

– Что вас особенно задевало, с чем не позволяли себе примириться, наконец по-христиански простить недоброжелателей?

– Никогда я не призывал к топору, моего имени вы не найдете ни в одном списке ни одного тайного общества. Поверьте, общества с тайным, в большинстве преступным образом действий, никогда не достигали положительных целей.

– Здесь вы решительно расходитесь с Герценом.

– Подождите, подождите... Признаюсь откровенно, с вашим обожаемым Александром Ивановичем мы одно время серьезно разошлись. Понимаете, в «Колоколе» напечатали непозволительный фельетон: нашим заграничным знатокам русской жизни пришлось не по вкусу, не по слуху – «Свисток» – сатирическое приложение к «Современнику». К печати новое издание готовил Добролюбов.

– Ваш единомышленник, можно сказать.

– Без сомнения. Однако горячий на скорую расправу Александр Иванович, не заглянув в святцы, бухнул в колокола, точнее, в «Колокол»: «"Освистыванием" либералов ослабляют этот фронт к выгоде царизма... По этой скользкой дороге можно досвистаться не только до Булгарина и Греча, но (чего боже сохрани!) и до Станислава на шею».

– Что-то уж очень резко, – подбодрил Макаш Николая Гавриловича осторожным негромким высказыванием (сам он дослужился до трех «Станиславов» и ничего зазорного для себя в этом не видел, хотя большого значения наградам не придавал).

– То-то и оно. Некрасов Николай Алексеевич, редактор «Современника», намеревался вызвать заграничного коллегу на дуэль. К счастью для русской литературы, для русских людей, роковое приглашение «К барьеру!» так и не прозвучало. Ваш покорный слуга дважды встречался с Герценом. И ведь не напрасно: в «Колоколе» Герцен принес извинения.

Кстати, о мятежном русском топоре. Это одна из бесчисленных провокаций ненавистников России. Некрасов либералов презирал за слабость душевного здоровья, за вялое расплывчатое мировоззрение. А в «Колоколе», где либералов приветили, Герцен писал недвусмысленно: «К топору мы звать не будем!» «К топору» призывал способный агент охраны Костомаров, до поры до времени неразгаданный умелец в подделывании почерков. Ему и принадлежат несколько фальшивых посланий от моего имени, в том числе и к Герцену, содержащих призывы к крестьянскому террору против самодержавия. Единственный документ против меня на суде написал провокатор. Теперь-то я знаю его имя – Костомаров. Мое осуждение было предрешиено в приказном порядке – любая провокация шла в дело. Меня в процессе прямо называли «провокатором с топором».

Я писал и сам подписывал «Письма без адреса». На самом деле адресат имелся. Венценосный. Предупредить об ожидаемой по логике развязке, значит, защитить. Я говорил иносказательно о приближающейся революции. Я, русский патриот, иногда прямо обращался к самодержцу: «Не вы один, а также и мы желали бы избежать ее». Я хорошо понимал и видел справедливость сурового народного недовольства непоследовательностью крестьянской реформы, опасался, что может произойти «русский бунт, бессмысленный и беспощадный». Простой народ в же-

стоком и несправедливом пренебрежении к ненавистному прошлому не пощадит и нашей науки, нашей поэзии, наших искусств; он станет уничтожать всю нашу цивилизацию.

11. НЕСОСТОЯВШИЙСЯ ПОБЕГ

– Позвольте, Макаш Бекмохаммедович, занять ваше внимание забавной историей, случившейся со мной лет двадцать тому назад, в Петербурге. Жизнь писателя или журналиста, в постоянных поисках мало-мальски надежного денежного заработка прибавшегося к журналам, разнообразием не блещет. С утра до вечера перо да чернильница, чернильница да перо, да измаранные почем зря листы писчей бумаги и корректурные листы. С рассвета дотемна сидишь в каморке прилежным Пименом-летописцем, света белого и людей не видишь. Разве что на переломе весны и лета светлее становится... Раз в день позволишь себе добежать до ближайшего трактира, наскоро похлебаешь горячих щей, а добровольная каторга зовет обратно. «Каторга», сказал я, да, Макаш Бекмохаммедович. Нет, настоящая каторга дожидалась впереди, еще только намечалась в царском предумышлении.

Как-то возвращаюсь я в послеобеденном расположении духа из трактира, дверь на лестницу слегка приоткрылась, влетело мне в уши слово «Чернышевский». Подслушивать, подглядывать, подстергать не в моем обычае, вот что остановило. Произнесено было это мне хорошо знакомое слово чужим голосом. Говорил не наш швейцар Никодим Северьяныч, а человек незнакомый. Что-то спрашивал, а Северьяныч отвечал. Грешен, кто бы не полюбопытствовал на моем месте, каким-таким образом моя скромная персона стала предметом беседы в швейцарской. К слову, о самом швейцаре. О нем, отставном унтер-офицере Волынского полка, известно немного... Неразговорчив, да и о чем толковать с жильцами, быстрым аллюром проскакивающими мимо суверенных владений почтенного Никодима Северьяновича. Человек серьезных лет, внушительной наружности, характера спокойного, несуетливого. Эту придверную должность он занимал уже лет пять или шесть, рекомендовал его кто-то из сослуживцев хозяина дома.

И вот слышу – швейцар с солдатской готовностью докладывает: «...Да нет, они почти всегда дома... Может, и статьи пишет, не знаю. Только из-под двери свет даже глубокой ночью пробивается...»

Конечно, и невинному младенцу можно было догадаться, что ваш покорный слуга давным-давно под секретным надзором. Эпизод с отставным унтер-офицером случайность, немного приоткрывшая.

Однако послушайте, что произошло через несколько дней.

Только я отложил написанную вчерне страницу с намерением через некоторое время к ней вернуться... Так советовал Гоголь, так яснее видны недочеты и неисправности текста... как в дверь громко, отчетливо постучали, и на пороге вырос гвардейский офицер. Росту как раз гвардейского, плечи картинно так, щегольски развернуты, мундир ровно только что из полковой швальни.

– Позвольте спросить, имею ли я честь говорить с Николаем Гавриловичем Чернышевским?

– Совершенно верно, я именно Николай Гаврилович Чернышевский, чем могу служить?

– Я, – отвечает гвардейский офицер, – адъютант Его Высокопревосходительства генерал-губернатора Санкт-Петербурга Александра Аркадьевича Суворова...

А надо вам заметить, Макаш Бекмохаммедович, князь – внук великого Суворова, Александра Васильевича. Князя и назвали в честь прославленного деда.

Спрашиваю адъютанта, какая нужда во мне обнаружилась у генерал-губернатора.

– Александр Аркадьевич настоятельно просит вас немедленно уехать за границу.

– «Что за комиссия, создатель», – произвольно процитировал я еще одного Александра – Грибоедова. – Зачем же за граница... И что за необходимость, по мнению князя, мне безотлагательно покинуть Россию?

– В подробности, уважаемый Николай Гаврилович, к сожалению, не посвящен, могу только сказать, что в самом скором времени вы будете арестованы.

– Арестован? По какому случаю, что такого преступного я совершил... Какое обвинение намерены мне предъявить? Впрочем, это неважно. Раз негоден правительству, значит, обвинение вскорости воспоследует... Подумайте, господин адъютант, как же мне уехать? Это же не на извозчике на Петроградскую сторону или в Петергоф. Здесь хлопот не оберешься... Да! Нужен заграничный паспорт. Пожалуй, полиция воспрепятствует получению мной такого паспорта.

– Пожалуйста, насчет паспорта и всего прочего будьте спокойны. Вы сразу получите заграничный паспорт вместе с прогонными – об этом особо позаботился князь. Вас будут сопровождать до границы с Германией, чтобы никто ни при каких обстоятельствах не чинил вам никаких препятствий.

– Так. Все понятно. Не совсем разъяснилось только одно: отчего такая княжеская забота. Чем обыкновенный петербургский журналист, русский литератор заслужил такое деятельное внимание? Положим, арестовали меня, князю-то к чему лишняя головная боль: есть кому, кроме него, разбираться и принимать положенные меры.

– Видите ли, господин Чернышевский. Ваш арест – только начало, как вы понимаете. Дальше непременно последует ссылка, естественно, в края, куда Макар телят не гонял. А князь полагает, что ваша вина, за нее грозит вам и арест, и дальнейшая ссылка, – это ваши статьи, хотя они все напечатаны с позволения цензуры.

– Я не совсем понимаю... Объяснитесь решительнее.

– Князю нежелательно, чтобы арест и ссылка, по сути, безвинного человека, хоть в малой степени замарали репутацию государя, его близкого друга, освободившего крестьян.

– Милостивый государь, прошу вас от моего имени передать князю Александру Аркадьевичу сердечную благодарность. Судьба не столь часто баловала меня подобной заботой. Однако последовать доброму совету, скорее всего, благоразумному, не смогу, не смогу расстаться с Россией надолго. А изгнание, господин офицер, даже добровольное – это надолго... навсегда... Я выбираю судьбу, какая бы она ни была, самостоятельно. И остаюсь в пусть маленькой, однако же надежде, что минует меня чаша сия. Ведь ничего противозаконного я не писал и не совершал...

– Я в точности передам ваши слова Его Высочайшему Превосходительству, господин Чернышевский...

Прибавлю, что князя Александра Аркадьевича Суворова любившие его петербуржцы называли «гуманным внуком великого деда».

– Наверное, справедливо, Николай Гаврилович, князь же стремился по возможности, понимая вашу невиновность и то, что вы не были замешаны в чем-либо противоправительственном, помешать вашему аресту, вашей ссылке.

– За что я и просил поблагодарить Александра Аркадьевича. И все-таки чаша сия меня не миновала... Скажу вам, что о своем отказе я не пожалел ни разу. Русские иностранцы – совсем другие люди. «Колокол» и предложение Герцена печатать «Современник» за границей расцениваю как провокацию. Русские люди здесь по-

страдали, страдают до сих пор. Смерть Александра II не обрадовала меня. Думаю, что Николай Алексеевич Некрасов, доживи он до губельного покушения на царя, вымарал бы из своих талантливых стихов провокационную строчку: «Дело прочно, когда под ним струится кровь». И все же действительность такова, что никакой переворот, как правило, без крови не обходится... Но почему бы не попытаться?

Поездка была довольно продолжительная, и Макаш после обеда прилег на лавку в каюте, предложив Чернышевскому тоже отдохнуть на укачивающей воде. Николай Гаврилович вышел на крохотную палубу и тоже прилег на выкрашенную в травно-зеленый цвет лавку. Но он не сомкнул глаз и с открытыми глазами просмотрел, как наяву, свой пятый сон. На обратном пути от моря в съемную астраханскую квартиру Николай Гаврилович перескажет Макашу настоящий пятый сон.

12. НАСТОЯЩИЙ ПЯТЫЙ СОН

Дом Макаша Бекмохаммедова – уют свободного самочувствия. «Какие сны в том смертном сне приснятся» – задает пронзительно бесстрашный вопрос Гамлет. Какими могут быть сны ученого человека? Скорее всего, они – продолжение его научных изысканий. И встреча с незнакомцем из будущего произошла у Чернышевского как вознаграждение за преданность, за пристрастие к науке. Но каково было Чернышевскому, с трудом вспоминаяшему имена родных сыновей, принимать в сыновья бедного петербургского студента: именно таким молодым человеком он воспринимал равновеликого ему собеседника, правда, тот был моложе «приемного отца» на восемьдесят лет.

Неправдоподобность встречи не имела значения. Для Николая Гавриловича знаменательной приметой стало отчество «студента» – Николаевич. Определенный намек на преемственность. Мистические собеседники разговаривали на языке, понятном только им двоим, применяя в разговоре термины исторической науки. А наука эта была огромной, простирающейся на тысячелетия, в прошлое и будущее, с центральной, стержневой датой – Рождеством Христовым. Визави Чернышевского – успешный соискатель ученых степеней и великий подвижник, открывший участнику придуманного диалога глаза на закономерности возникновения этнических систем под влиянием преобразования биохимической энергии. Пожалуй, «дальний потомок» сибирского каторжника – автора романа «Что делать?» – хорошо понимал и заново открывал воздействие космической энергии на возникновение и исчезновение народов, на перемещение и слияние человеческих обществ, что и есть вечное движение.

Чернышевский говорил:

– Так вот он, «вечный двигатель под сенью космоса». Русский человек обречен во все эпохи на поиски вечного двигателя. Я сам в ранней юности потратил полных пять лет на изобретение этого призрачного недосягаемого механизма. Над моими стараниями вдоволь потешались друзья и знакомые, но бросить поиски, вечные поиски вечного двигателя было выше моих сил. Не я первый... Отец-священник чуть ли не на коленях молил оставить эту неразрешимую затею, приводил доводы христианского миропонимания. Говорил, что это сочинение против Бога. Любопытно, правомерным или наоборот сочтет эти поиски ученый человек вашего столетия.

– Нет, не так, не по делу тратили вы свои юношеские силеньки. Не сочинять, а найти в жизни, в хронике мировых вероучений, особенно, в христианской православной культуре. Скорее всего, именно здесь вечное движение, а нечто машинно-механическое – это несбыточные надежды инженерно-ремесленного сословия.

– Ваши слова – это почти точь-в-точь предостерегающие речи моего отца.

Вам знакомы поучительные наставления Ефрема Сирина? Гавриил Иванович многие годы не расставался с притчами старинного вероучителя. Переводил на русский язык; мне многое запомнилось. Вот послушайте притчу о любви: «Кто имеет сию блаженную любовь, тот не гордится, не завидует, ни к кому не питает ненависти, не презирает убогого, не отвращается от нищего, не оставляет без призора сироту, вдовицу и странника». Сколько столетий протекло, а эти сердечно-сокрушительные слова бессмертны...

– Вот вам, Николай Гаврилович, и вечное движение.

– Преподобного Ефрема много переводили с сирийского на греческий. Известны и почитаемы переложения Иеронима Стридонского. Отец мой признательно пользовался текстами св. Иеронима. Потом в руки моего уважаемого родителя попала знаменитая «Вульгата» – перевод Библии на латинский, выполненный все тем же Иеронимом. Так ведь Гавриил Иванович ради прочтения греческого Сирина и латинской Библии св. Иеронима изучил и греческий, и латинский.

– Да, были люди в ваше время... Гимназия в Российской империи – это вам не вторая ступень трудовой школы. Значит, переводить – это у вас наследственное?

– Здесь тоже без мудрого Иеронима, человека вдохновенной книги, у ног которого смиренно ложились львы, не обошлось. Его слова хоть золотом по мрамору пиши: «Хороший переводчик тот, кто не корпит над мертвой буквой, а судом победителя переводит пленные мысли на свой язык». Не до конца уверен, что поступаю правильно, когда с презрением отвергаю «мертвую букву», взявшись за перевод многотомной «Истории» Вебера.

– Нет-нет, сомневаться смысла нет. Я читаю переведенные вами тома с пиететом.

– Благодарю. Правда, если сравнить веберовский оригинал с тем, во что преобразил его переводчик, о пиетете не может быть и речи. Я, с памятью о св. Иерониме, не забывал и предводителя гуннов, великого завоевателя Аттилу, с его афоризмом «Горе побежденным».

– Вы не сказать чтобы почтительно относились к тевтонским интеллектуалам. Впрочем, я сам не поклонник арийского высокомерия. У меня единственная фронтовая награда – медаль «За взятие Берлина». Вы о том «взятии» понятия не имеете. Берлин мы взяли в 1945 году.

– Да, полвека вперед... Мне, очевидно, удастся заслужить медаль «За взятие Вебера». Если желаете, расскажу, как мы «породнились» с отцом «Всеобщей истории». Геродота, как вы, скорее всего, хорошо помните, в древности называли «отцом Истории». А наш почтенный ученый – отец просто «Всеобщей». Вебер появился в России за два года до крестьянской реформы. Сокращенный вариант напечатали для женских училищ. Добролюбов раньше меня переводил Вебера. Как бы сурово я ни критиковал Вебера, умственный работник он высшей добросовестности. Нельзя такого не уважать. Вот я и взвалил на себя добровольный долг – представить русскому читателю «Всеобщую историю» в максимально полном виде.

– Как! Пребывая под полицейским надзором, «на привязи», в отдалении от Москвы и Петербурга, вне круга образованных людей...

– Если бы вы знали, уважаемый собеседник, как велика ваша правота. В одном дружеском письме я признался: «Я перевожу книгу, положительно не нравящуюся мне; я теряю время на переводческую работу, неприличную для человека моей учености и моих – скажу без ложной скромности – моих умственных сил...»

– Вы продолжили замысел Добролюбова...

– Мое уважение к Николаю Александровичу безгранично. Вот почему я ни мгновения не колебался, когда мне предложили для перевода этот капитальный

труд. Однако я не пожелал удовольствоваться ролью безучастного, покорного исполнителя литературно-коммерческого заказа.

– Достаточно вспомнить пушкинский завет: «Переводчик прозы – раб; поэзии – соперник». Вы с Вебером обошлись весьма вольно.

– Освобождал текст от высокопарного пустословия, от реакционных рассуждений. Прибавлял специально написанные к отдельным томам вступительные статьи, практически трактаты. «О расах», «О классификации людей по языку», «О различии людей по национальному характеру»...

– По сути, вы подвергли разгрому грандиозную националистическую концепцию Вебера.

– Простите за грубое слово, но «поделом вору и мука». Еще в «Современнике» мне были смешны «ученые забавы» людей, всерьез докапывающихся, на каком языке разговаривали Адам и Ева, пытавшихся решить, так какой же народ считать древнейшим в мире. Подобные дикие фантазии, «расово обоснованные», принять невозможно.

– И на все эти выволочки самонадеянному Веберу вы смогли получить цензурное разрешение?

– Повезло. Фальшивые объяснения под «антинаучным расовым соусом» были навязаны европейскому научному сообществу американскими университетскими «специалистами» рабовладельческого мировоззрения и поведения. И очень хотелось всех этих высоколобых господ крепко проучить. К счастью, мой денежный заказчик Солдатенков не мог разобраться, сохраняю ли я пунктуально-немецкую подчиненность оригиналу. Его, издателя-капиталиста, заботил скорейший выход выгодного сочинения в свет. Да чтобы никакой революционной пропаганды не было в наличии. И никакого Чернышевского, хотя он очень ценил меня за знание языков, за авторитет у прогрессивной молодежи. Что ж, для цензуры пришлось стать Андреевым. И беспрепятственно включить во «Всеобщую историю» собственные научные предвидения о солнечной энергии. От нее напрямую зависит рождение и развитие расовых сообществ...

В неоднократном мистическом сновидении пророческого толка Чернышевский нашел бывшего каторжника, такого же страдальца государственного режима, как и он сам. Автор социально-утопического романа потрясен. Как же так? Он предвидел свободное и счастливое время, он заранее радовался грянувшей революционной буре, тому, что пало самодержавие и свобода радостно встречает недавних узников у входа в тюремные затворы. А первый встречный – как раз недавний государственный преступник, отбывший лагерные сроки на азиатском Крайнем Севере, на кромке Полярного круга, даже севернее проклятого Виллойска.

Подобные провидческие сновидения снятся лишь избранным натурам в ответ на долгое усилие беспокойного ума, охваченного раздумьями о наследнике жизненного дела. Родные сыновья Николая Гавриловича, ребята хорошие, честные, правдивые, с неизменным чувством долга, все-таки историческими да и прочими интеллектуальными занятиями отца почти не интересовались. А в снах все было куда приманчивей и благополучнее. Сначала мерещился Николаю Гавриловичу широкоплечий человек в летах, терпеливо обходящий петербургские книжные лавки и букинистические развалы. Этот пожилой господин простецкого вида перебирал тома в залежах невостребованных книг. Когда спрашивали о том, что же возжелала его библиофильская душа, отвечал, что разыскивает как раз «Всеобщую историю» Вебера, собирает не только двенадцать томов, переведенных Андреевым (Чернышевским) до своей ранней кончины, но и остальные книги.

Обстановка пятого сна не похожа на воздушные, оранжерейно-хрустальные замки прежних снов милой и деловой барышни Веры Павловны. Николай Гаврилович сквозь понятную туманность привычного для поздней осени мелкого дождика, вблизи своей последней петербургской квартиры в доходном доме г-жи Есауловой вечерней порой видит единственного пешехода, – а всем остальным в таком сновидении делать нечего, – с тяжелым намокшим мешком за плечами. Чернышевский догадывается о содержимом мокрого мешка. В нем тома «Всеобщей истории» Вебера-Андреева.

Как дорог ему этот одинокий единомышленник, с которым он ведет беседы, стоит только среди дня закрыть глаза. Он чувствует его своим, и он спокоен – это наследник, который по достоинству оценит и закрепит в отточенных формулах научные догадки. Все-таки его гипотеза – всего-навсего научное предположение. А убедительные доказательства могут быть добыты долгим опытным путем.

Логически выстроенного разговора у Чернышевского с дальним потомком не получается.

Собеседник иронически замечает: «Мне 77 лет, а вам едва исполнилось 55 – это мой возраст при первых экспедициях на Каспий в поисках Хазарии. Кто кому сын, кто кому отец – это условно, и не то еще случается в мистических снах». Чернышевский стремится рассказать ему и о любимом человеке – жене Ольге Сократовне, которую он за широту души и взглядов звал Волгой Саратовной, порой и о сыновьях Александре и Михаиле, рассказать о другом своем романе «Пролог», где муж и жена – Волгины.

Потомок, чье отчество «Николаевич» (Чернышевский посчитал за знак мистического отцовства), не остался в долгу, поведал «родителю» из сновидения о пьесе высоко ценимого Николаем Гавриловичем Льва Николаевича Толстого (и здесь неспроста возникло такое отчество) – «Живой труп» с трагической коллизией, напоминающей центральную сюжетную интригу романа «Что делать?».

А бесконечный вещий сон продолжается.

Кряжистый потомок, что с мокрым мешком «Всеобщей истории» таскался по петербургским улицам, затащил утомленного, в чем душа держится, Николая Гавриловича в теплый трактир, заполненный посетителями в сырых поддевах. Половой проворно поставил пару чашек чаю, поднос с бубликами и кусками голубого сахара. И что еще нужно для душевной – нараспашку – беседы. Так Чернышевский узнал, что у неожиданного родственника вышли в свет собственные книги. Одна оказалась при собеседнике, Николай Гаврилович успел прочитать заглавие – «Открытие Хазарии», разглядел внизу титульной страницы год издания – 1966 и имя автора. Но трактир исчез, а Чернышевский лежит на кушетке в кабинете и пытается найти заинтересовавшую его книгу на небольшом приставном столике. Здесь собраны книги и словари первостепенной необходимости. Однако «Открытие Хазарии» не попадает, хотя хозяин кабинета явственно помнит, что положил книгу именно здесь.

В продолжающемся сне появляется Ольга Сократовна. Муж спрашивает, не брала ли она со столика небольшую книгу. Она нужна для срочной работы.

Жена отвечает без промедления:

– Ты же знаешь, я не трогаю твоих книг. Да и на что она мне?

Чернышевский возвращается в действительность: «Значит, это все сон, обман сознания, возведенный в предсказание и пророчество». Он осведомляется у Ольги Сократовны о здоровье своего секретаря Кости Федорова, может ли тот сегодня работать. Она отвечает, что всю ночь Федоров переписывал надиктованное вчера, сейчас спит. «Пусть спит», – говорит Чернышевский, а сам, отказавшись от чаю,

предложенного женой, не отрываясь, записывает то, что он прочитал в книге, которой нынче не нашел на приставном столике.

А странный долгий сон возвращается, Николай Гаврилович вновь в сыром трактирном помещении и объясняет собеседнику:

– Сон – не молниеносное прозрение, когда за несколько мгновений до окончательного пробуждения рождаются пространные объяснения и убедительные толкования, когда является фантастическая уверенность в реальности происходящего. Нет-нет, это поразительное сновидение не было единственным, посетившим меня лишь однажды. Оно длилось как постоянное наваждение, однако не было томительным и мучающим, подобно неприятным кошмарам. Оно освежало меня, скажу больше – просвещало. Послушайте. Стоило только мне отъехать от Петербурга на несколько верст, как меня охватила сильнейшая тоска по моей последней квартире. Пережил я в ней немало счастливых и несчастливых дней, тем не менее собирался там жить долго.

Ни с какими соседями я не znalся, но вот однажды иду по совершенно безлюдной, залитой дождем Большой Московской в полном одиночестве, а навстречу идет человек, на безостановочный дождик не обращает внимания, он со связкой тяжелых томов с золотыми корешками. Так вот этот человек и есть вы, как теперь ясно.

– Продолжим. Вы спросили: «Позвольте полнобопытствовать, что за книги».

Здесь самое место воспроизвести диалог каторжников разных эпох.

– Это «Всеобщая история» Вебера в вашем переводе. Многие годы я, историк, географ и этнолог, разыскиваю эти обстоятельные книги. Вот добыл и волоку домой, как крыловский волк невинного ягненка, последнюю порцию.

– А что вы делаете на Большой Московской?

– Я здесь живу.

– Не в шестом ли доме? Мне и в самом прихотливом сне не забыть, что расстался с этим домом больше двадцати лет назад.

– Рядом живу, в четвертом, стена к стене. Вы мне, конечно, хорошо знакомы. Вы – Николай Гаврилович Чернышевский, родственник мне человек – как домашний сосед и многолетний каторжник в тех же краях, где отбывал каторгу и я. Как говорят в наши дни: «тянул срок». Впрочем, пока обойдемся без каторжного лексикона – он всегда быстро переменчив.

– Мой отец начинал знакомство со слов: «Какое веруете?» Вот и я спрошу: «Что проповедуете?»

(Николай Гаврилович и во сне понимает, что странный разговор может оборваться внезапно, надо торопиться, что все сгинет поистине, «как сон, как утренний туман», и он не успеет побольше узнать о том будущем, которое, по его пророческому убеждению, должно мощно осуществиться в новых поколениях.)

Неожиданно Чернышевский спрашивает:

– А как сложилась ваша жизнь, когда меня уже не было на свете?

– Не принуждайте меня вспоминать: много беспросветности. В сновидениях Веры Павловны будущее рисовалось в наивно-праздничном свете. Декларативные мечтания оказались страшно далеки от действительности. Люди будущего представлены в романе «Что делать?» равными по развитию – интеллектуальному, социальному. Однако в жизни так не происходит. Каждый человек сам себя лепит на особицу. И чем ярче, оригинальнее человек, тем печальнее его участь. Так что оставим равенство греметь в свободном и братском девизе Французской революции.

– Позвольте напомнить вопрос о вашем мировоззрении.

– Я проповедую изучение исторических событий с проекцией на современность. Жаловаться на событийную бедность не приходится: случаи, происшествия,

встречи валят плотным косяком, как лосось на нерест. Следовательно, мне вовсе нетрудно оказаться в загадочной Хазарии, которую я хочу открыть для посвященных православных и только в православии равных перед Богом людей.

– Да разве это возможно? Умозрительно или в результате археологических раскопок? Вот мне не довелось изучать предметы материальной культуры, из которой и возникает народное самосознание. А без вещественных аргументов любая прекрасная теория не имеет ни почвы, ни корней.

– В тюрьмах и лагерях я восстанавливал усилиями памяти ранее прочитанные книги по истории гуннов и древних тюрков. Лагерно-тюремные штудии впоследствии помогли подготовиться к небольшой книжке «Открытие Хазарии». Саму Хазарию я открывал с лопатой в руках. Потому столь дорого мне это свидетельство первоисследователя-чернорабочего: я располагаю материальными доказательствами.

– Я как раз таковыми не располагаю. Иное дело – предположения; они заставляют меня пересматривать некоторые малоубедительные утверждения Вебера, заменять догадками, мистически открывшимися мне в патриотическом мирозерцании. Нет для меня большей святыни, чем православная Русь. К слову, что это за буйный набег, за который села и нивы неразумные противники вещего князя мстительно подверглись мечам и пожарам? Разве хазары – враги русского человека?

– Не все сплошь хазары промышляли буйными набегами. По большей части это мирные земледельцы и рыбаки – жили-поживали в богатейшем краю, что им за дело битвы за власть неукротимых соседей и сородичей. Торговли практически не существовало, ее заменой служил натуральный обмен. После падения Западного каганата тюркские ханы бросились в бега на совсем не дикий запад. Насельники волжской поймы и каспийского побережья встретили беглецов доброжелательно с готовностью подчиниться славным воинам – пришлым заступникам. Им степь, конечно, была понятнее и дороже моря, однако скрываться от своих хищных и жестоких сородичей-кочевников было намного сподручнее, чем в пространстве, открытом всем ветрам.

– Просто прикаспийская Аркадия какая-то, земля голубиной кротости, в которой агнец и лев бескровно соседствуют.

– Тем не менее мирное сообщество не смешивалось. Там, исповедуя веру отцов, гостеприимно приняли евреев, в VI веке спасавшихся от казней иранского хана после разгрома маздакитов. Избежавшие позорной смерти евреи высоко ценили свое спасение на северной стороне Каспия, между Сулаком и Тереком, куда они прибыли на жительство почти на двести лет. Плечом к плечу с арабами сражались пришельцы, не столько защищая плодородное прикаспийское пространство, сколько отчаянно сопротивляясь новой, как и раньше беспощадной мусульманской агрессии.

– Вы глубоко погрузились в противостояние евреев киргиз-кайсацкой степи и арабов, прибывших из песчаных пустынь аравийской земли. Чем же закончился этот арабский натиск, схватка сыновей Мухаммеда с потомками Моисея?

– Невесело закончился, да и закончился ли? Арабы завоевали Иран, обратили в мусульманскую веру персов, а еврейским подданным предложили жестокий выбор – вероотступничество или смерть.

– Невыносимая дилемма. Разве добровольный, без насилия, выбор невозможен? Без слома психики, без душевных последствий...

– Правоверные евреи смогли отомстить неразумным арабам. Они, никогда не менявшие вероисповедания, более тысячи лет бесконфликтно сосуществовавшие с огнепоклонниками-зороастрийцами, нашли безошибочное, надежное средство раздробить мусульманскую общину, рассорить последователей пророка Мухаммеда.

да. Они придумали шиизм, и это учение двенадцать веков служит смертоносным поводом для непрекращающихся религиозных сражений.

– Да, там столкнулись злейшие враги. Арабы того времени – агрессивные, сильные и хищные.

– Вот и пришлось евреям-талмудистам бросить спасительный взор на благословенный север Каспия; они назначили побережье землей обетованной.

– Как глубоко вы проникли в историко-географические обстоятельства. Мне это очень близко, поскольку извлек некоторые уроки истории из места моего рождения.

– Саратов... Волга... пересечение дорог – сухопутных, речных. Само местоположение призывает к выбору торговой профессии: быстрое богатство – вот оно!

– Что же возразишь против этого. Торговля – мать ремесел, двигатель прогресса.

– Не будем столь категоричны. Здесь загвоздка – в масштабах. В вашем романе есть хрустальный дворец; вы взяли за архитектурный образец подобное сооружение Лондонской промышленной выставки. А ведь эта прекрасная постройка – свидетельство британского грабежа многих народов и государств, безмолвная повесть о баснословной наживе подданных английской короны.

– Да-да, пираты – государственные разбойники, любимцы самой богатой дамы в Старом Свете, королевы Елизаветы. Чтобы джентльменам было вольготнее грабить, Британская империя сменила официальную религию, решила не зависеть от духовной власти Ватикана.

– И развернулись вовсю – с винчестерами и кольтами, с привозом сотен тысяч негров из Африки. Пиратское золото для королевской казны, если сравнить с позднейшими торгово-грабительскими операциями в Северной Америке, сущая мелочь.

– Пожалуй, ваша правота несомненна. Признаюсь, я настолько обольстился грандиозной лондонской игрушкой из стекла и чугуна, что не заметил, не распознал настоящего, глубинного, опаснейшего смысла. Теперь-то я – стрелянный воробей: тюрьма, каторжные годы... Меня нынче не так-то легко провести на выставочной мякине. А впрочем, не станем зарекаться. Потомки, наверное, для того и являются на свет, чтобы прибавить нам ума и прозорливости.

– Мое детство озарено последним сном Веры Павловны: мне нравился роман, и я верил старшим, убежденным, что будущее случится именно таким, каким оно привиделось героине без страха и упрека.

– Теперь вам известно, как все произошло на самом деле. Теперь ваша очередь мечтать и верить.

– А в двадцать лет я прочитал размышления о владелице швейной мастерской неизвестного вам философа начала XX века Василия Розанова: «Хрустальный дворец» – это искусственное, возведенное на началах разума и искусства здание человеческой жизни, которое хуже всякой действительности, потому что, удовлетворяя всем человеческим нуждам и потребностям, не отвечает одной и главной – потребности индивидуального особенного желания; подавляет личность».

– Федор Михайлович Достоевский – в мрачных предчувствиях предшественник позднейшего мыслителя. Заглянем в «Дневник писателя». Здание «всеобщего счастья», невиданный «хрустальный дворец» напоминал Достоевскому огромную библейскую постройку. «На месте храма Твоего, – говорит Христу Великий инквизитор, – воздвигнется вновь страшная Вавилонская башня».

– Тема проклятого здания не оставляла Достоевского. Дальше-то что он пишет: «Явились мечтания. Будущая Вавилонская башня стала идолом и, с другой стороны, страхом всего человечества».

– Это единственное в мире дерзновенно символическое здание казалось Достоевскому образом грядущего мироустройства вообще.

– Все-таки писатели из великих – полные идеалисты. Хлебом не корми, дай отвлеченно порассуждать о прописных истинах. Нам лучше покинуть Вавилонскую башню, спуститься с нее на непритязательную землю, на плодородную прикаспийскую почву. У коренных хазар прописные истины до появления талмудистов в повседневной жизни не присутствовали. Пока предприимчивое меньшинство не закабалило пассивное большинство идейной борьбой за золото. Итиль – благословенная столица Хазарии, где в полном почете пребывали искусные ремесленники, превратился в большой перевалочный пункт на пересечении двух главных торговых путей: из Ирана в Биармию (Великую Пермь) и из Китая в Прованс.

– По какому праву меньшинство верховодит, а большинство покорно склоняет голову? Я и мои единомышленники страстно мечтали о революции, о победе над несправедливостью. Мы не могли смириться с тем, что царь и его верные прислужники решают за весь народ, что закону не под силу воспрепятствовать неограниченной власти.

– Для православных людей право на неограниченную власть закреплено только за Господом Богом. А если смертному человеку и приходится подчиняться, то в памяти о Боге ему легче это сделать. За примером такого спокойствия далеко ходить не надо. Мой любимый герой – Александр Невский. Святой равноапостольный князь жизни своей не пожалел для други своя, поскольку пребывал под небесным покровительством.

– Не все люди Александры, не все Александры – Невские. Как же скромные незлобивые евреи захватили власть в Хазарии? Каким образом большинство перешло под иудейскую длань расторопных мигрантов?

– Такое получилось только один раз. По всему миру посланники Торы распространяли сведения, что Хазария исповедует иудейскую религию. Будто бы и хазары, и тюрки, да и прочие иноязычные пришельцы – все давным-давно под еврейскими знаменами. Это не соответствовало действительности: хазары, тюрки и прочие некоренные жители Хазарии, обращенные в иудаизм, именовались ни много, ни мало «проказой Израиля». «Прокаженных» чистопородные «избранники Яхве», как стали говорить в моем веке, расово безупречные, не торопились принять в свой круг.

– Друг мой, людей сортировали многие тысячелетия. Скорее всего, этого не избежать и дальше. Хотя мне самому мой пессимизм отцовский – ничего, что я вас нечаянно усыновил? – не по душе.

– А ведь он оправдан. Какую наглуую ложь преподносили тогда всей Европе. Будто бы раввинистский иудаизм – государственная религия Хазарии. Ординарная ложь. В религиозной терпимости можно было заподозрить хазарское простонародье, наивных тюркских ханов из династии Ашина, но только не иудеев-талмудистов, главными аргументами которых в религиозных и имущественных спорах было сословное и этническое различие.

– Аристократы, разумеется, иудеи.

– Они называли себя рахдонитами – людьми, знающими дороги. К таковым, уже по рождению, принадлежали дети еврейской матери; отец мог быть тюрком ли хазарином. Иной брачный расклад, когда лишь отец являлся лицом иудейского вероисповедания, а мать – нет, позволял рожденному в таком союзе быть лишь бастардом, изгоем, вообще бесправной личностью в полном смысле этого слова. Такой бесчеловечный отбор – небезобиден.

– Опять-таки – явление не новое, к тому же ничуть не устаревшее.

– Совершенно верно. Рахдониты – не лыком шиты: только на торговых путях, пересекавших околокаспийское пространство, они занимались работоторговлей, причем в любимый живой товар попали славяне.

– Так ведь буйные набеги за славянскими рабами кончились плохо. По школьным годам помню, что сын княгини Ольги – первой православной русской женщины – Святослав разгромил Хазарский каганат.

– Летописные сказания не рассказывают об окончательной гибели Хазарской земли под водами Каспийского моря. Оно поднялось на семнадцать метров. Стихийное бедствие заставило бросить благословенные места со всеми постройками, садами, огородами... Часть хазарских жителей переселилась на еще одну великую русскую реку – Дон, стали казаками, другая часть (хазары и тюрки) перебралась в Туран, хазарские евреи нашли пристанище в Европе. Великий Шелковый путь переменял маршрут. А торговые караваны армян, греков, иудеев, как и раньше, шли от Великой китайской стены до испано-мусульманской Кордовы.

13. ПЕРЕПИСКА

Чернышевский – Ольге Сократовне

Дорогая Ольга!

Наконец-то добрался до пера и бумаги, сижу в Астрахани, вспоминаю богоспасаемый Вилюйск и богомерзкий Якутск. Что именно вспоминаю, сейчас расскажу. Пережитое – не дай Бог никому... Но прежде всего: как Вы сами, как Ваше здоровье, как лечитесь, какие врачи нынче в Саратове? Пожалуйста, не жалейте денег да и времени на то, чтобы вылечиться, не жалейте. Побольше расспрашивайте докторов, разговаривайте с другими больными, чтобы лучше всего разобраться, что же именно поможет Вам вернее и быстрее всего... Ах, да про каторжные мемории...

Знаете, чем дальше от тех мест и от тех лет, надеюсь, безвозвратных, тем легче и безболезненнее воспоминания... Якутский губернатор Черняев, которого мне не забыть никогда, особое удовольствие получал, отвечая на мои нечастые жалобы: житейские обстоятельства-то были невыносимые, все повторял: «Вы – государственный преступник, благодарите Бога и императора, что помилованы, что казнь вам заменили ссылкой. Так что не жалуйтесь, коли вам что-то не нравится: иного обращения вы не заслуживаете».

Весь долгий семилетний вилюйский срок я вспоминал губернаторское «гостеприимство». И привела же судьба вновь встретиться с государственным мучителем: при возвращении застал я Черняева по-прежнему в том же губернаторском кабинете, в том же казенном кресле. Смотрел губернатор бравым молодцем, не то что его поднадзорный визави. А как он меня принимал! Не знал где усадить, сыпал комплименты известной персоне, как литературной знаменитости, приказал подать чаю.

Комплименты и чай, конечно, хорошо, однако более всего желал я отоспаться после многотрудной дороги из Вилюйска. Но – нет. Губернатор позаботился о том, чтобы максимально сократить пребывание в Якутске «известной персоны и литературной знаменитости».

– Лошади поданы, г-н Чернышевский, положенное сопровождение обеспечено, извольте отправляться.

Провожал меня старший тюремный надзиратель. К нему я и обратился с покорнейшей просьбой передать губернатору Черняеву записку. Я написал: «Милостивый государь! Я благодарю Вас за теплый прием. Посылаю Вам рубль серебром

за угощение, поскольку не имею привычки что-либо получать даром, тем более из казны».

Вот так. А там пусть сам губернатор Черняев решает, каково предназначение этого серебряного рубля: за чай он послан или «на чай». А может, за то и другое вместе... Эта маленькая месть меня сегодня согревает.

Вот, Ольга, надеюсь, развлек Вас забавной историей из жизни каторжника.

В Астрахани чувствую себя совсем неплохо; сухая жара только донимает, да и одиночества, признаться откровенно, меньше не стало. Мои городские прогулки хороши каспийским ветром да мимолетными наблюдениями. Одноэтажная Астрахань ничуть не лучше и не хуже одноэтажного Саратова. Изредка захожу в собор, заново переживаю детские впечатления.

Мне посчастливилось познакомиться с одним местным чиновником, Макашем Бекмохаммедовым. Он служит в губернской администрации, человек, прекрасно образованный, отлично говорит по-русски, речь грамотная, свободная, знает английский и французский языки, хорошо знаком с Пушкиным, русской романистикой наших дней. Мы много разговаривали с уважаемым Макашем Бекмохаммедовичем, причем он исхлопотал для меня почти недельный отпуск, и я провел эти замечательные дни под его домашним кровом. Добирались мы к нему по воде и посуху почти полдня, квартировал я в рубленом деревянном доме. Обстановка совершенно европейская. Впечатление незабываемое.

Казахи, и Макаш Бекмохаммедович среди них первый, заставили полностью переменить мое мнение об азиатах. Манера одеваться моих новых знакомцев, то, как поставлена повседневная жизнь, все это заставляет меня переменить прежнее, поверхностное и неполное мнение о жителях степного края. Нет ничего, о чем бы они не были осведомлены. А г-н Бекмохаммедов на мои вопросы отвечал вдумчиво, не пренебрегая подробностями, и сам задавал вопросы – сложные, затруднительные. Беседовать с таким собеседником – редкое удовольствие.

Ольга, сообщаю Вам почтовый адрес г-на Бекмохаммедова Мухамеджана Шолтыровича. Пожалуйста, напишите ему письмо, попытайтесь, как можно более деликатно, дознаться, с какой целью он добивался встречи со мною. У него я квартировал пять дней, квартировал и столовался, однако расплатиться за гостеприимство не мог из-за отсутствия у меня наличных денег. Поэтому прошу Вас, выяснить, какую сумму я задолжал г-ну Бекмохаммедову, и отправьте ему деньги. Очень сожалею, что не имел возможности заплатить сразу, Вас же прошу, пожалуйста, не задерживайтесь с выполнением моей просьбы.

Постоянно думаю о Вас, жалею, что мы, как были разлучены, так и сейчас не вместе. Утешает, что видим воды одной и той же реки, нашей великой Волги.

Берегите здоровье, Ольга, пишите каждую свободную минуту. Мне любая, самая крохотная весточка будет в радость.

Целую руки, Николай.

Ольга Сократовна – Макашу Бекмохаммедову

Глубокоуважаемый Мухамеджан Шолтырович!

Совсем недавно я получила письмо из Астрахани. Мой супруг, Николай Гаврилович Чернышевский, написал мне, что несколько дней пользовался Вашим любезным гостеприимством. Впечатления от всего, что довелось ему увидеть, благодаря Вашему содействию, самые лучшие. Я сердечно благодарю Вас за то внимание и заботу, которые Вы проявили. Тем более что состояние моего здоровья потребовало лечения в Саратове. Николай Гаврилович оставался совершенно без

присмотра. Спасибо, что Вы заботились о нем. Не скрою, муж в письме ко мне признается, что Вашим гостеприимством он смущен, ему не совсем понятно, какие обстоятельства послужили поводом для приглашения Николая Гавриловича стать Вашим гостем. Буду весьма признательна за разъяснение.

Прибавлю, что он очень просит также сообщить ему, в какую сумму обошлось его пятидневное пребывание у Вас в гостях. Деньги я перешлю. Понимаете, Николай Гаврилович вырос в семье, где привыкли считать каждую копейку. Кроме того, учили никогда не брать чужого, не залезать в долги. Вот он и не хочет быть должником.

Надеюсь, что Вы, Мухамеджан Шолтырович, не задержитесь с ответом.

Искренне уважающая вас Ольга Чернышевская.

Макаш – Ольге Сократовне

Глубокоуважаемая Ольга Сократовна!

Хорошо, что Вы обратились ко мне с Вашими вопросами. Они, к счастью, легко разрешимы. С Вашим мужем я сначала познакомился более двадцати лет назад, читая его статьи в журнале «Современник». Его тогда редактировал Николай Некрасов. Я с большим интересом читал статьи, в которых затрагивались животрепещущие жизненные проблемы.

Стремление доискаться до истины и послужило поводом для знакомства. Меня обрадовало, что мы встретились, откровенно разговаривали, многие затруднительные вопросы разъяснились. Я немало понял, за что всегда останусь признательным Николаю Гавриловичу как писателю и философу

Что же касается мнимого долга, здесь нет причины ни для какого беспокойства. У казахов не принято даже думать о какой бы то ни было плате за угощение, за ночлег, за любые услуги и почести, оказываемые гостям. Казахи любого гостя почитают как божьего посланника. Это может быть обыкновенный путник, отправившийся в дальнюю дорогу или просто приехавший из соседнего аула.

Но есть особенные гости, приглашенные хозяином дома. Таким людям – особое уважение. Для них берегут лучшую пищу, кормят и лошадь гостя, и собаку, если в гости пожаловал охотник.

Вам же известно, что я нарочно поехал в Астрахань, чтобы вернуться домой вместе с Николаем Гавриловичем. Так что Ваш муж – особенный гость. Вообще же милосердие, безвозмездная помощь всем, кому пришлось нелегко, давний народный обычай. Кстати, и по шариату, мусульманскому своду законов, необходимо поступать так же. Следовательно, уважаемая Ольга Сократовна, не тревожьтесь.

Позвольте пожелать Вам скорейшего выздоровления и выразить надежду, что мы непременно встретимся.

Искренне преданный –

Мухамеджан Бекмохаммедов.

ЭПИЛОГ

При разборе бумаг Отца Дмитрия после его смерти в 2004 году обнаружено письмо Льва Николаевича Гумилева, датированное 1989 годом.

Дорогой отец Дмитрий! Пишу Вам по поводу одного странного события. Я, как Вам известно, никогда не увлекался оккультными аспектами существования, алхимией, розенкрейцерами, Блаватской – масонство, такая западная, спесивая на грани сатанизма идея, никогда меня не привлекала. Хотя любил я поговорить

с шаманами – немало я их повидал, скитаясь по лагерям. Но странные происшествия, волнующие меня все-таки, свершаются не по моей воле. Я никогда не занимался столоверчением, хотя донимали многие. Паче других – художественная литература. Бог упас. Веруя в Бога, я не хотел узнать нечто сверхъестественное от неизвестно кого, явившегося в облике вопрошаемого. Я не люблю ясновидящих. Я даже испугался когда отец Сергей (Желудков) – православнейший священник – возглавил диссидентское движение по научению во сне 1968 года Папы Иоанна XXIII, покойного тогда уже 5 лет. Это я рассматривал как литературное оправдание своего личного выбора, недостойное сана. Сон – слишком легкий прием. Все, чего нельзя доказать и проверить, мне, как ученому, претит. Мальчиком, читая много без разбора и зная от бабушки, что прадедушка мой Яков Федорович Гумилев был священником, я гордился причастностью к священничеству и даже полагал, что сам Филарет Гумилевский – наш предок. Однако я ученый, и этим сказано все, я отказываюсь от мифов, ибо самый что ни на есть здравый смысл руководит моей даже подсознательной жизнью. Но вот уже несколько дней я во сне общаюсь с Николаем Чернышевским, как с живущим ныне человеком, а между тем сон слишком похож на явь. Мы часами разговариваем на исторические темы, и он, родившийся в 1828 году и умерший в 1889-м – (100 лет назад!) предсказал мое появление, то есть мою теорию пассионарности о происхождении этносов, хотя называет это «происхождением рас». Если Вам попадет «Всеобщая история» Вебера, посмотрите, начиная с 7-го тома, на вольные отступления Николая Гавриловича от канонического текста немецкого историка. Пусть Вас не смущает авторство перевода под именем Андреева даже без инициалов – это надзор полиции велел ему скрываться под псевдонимом; слава Богу, я хоть и поднадзорный до сих пор, но имя свое могу употреблять. Я, как русский патриот, думаю: только русский православный, широко мыслящий человек, сосуществующий в неподдельной стахановщине дружбы народов, может догадаться и предполагать существование этого «вечного двигателя» этнического развития. Но что мне делать с моим религиозным чувством и некоторым стыдом перед моими же собственными принципами. Я нуждаюсь в исповеди и в проповеди, то есть в нашей беседе. Позвольте явиться к Вам прихожанином при первой поездке в Москву.

Ваш Лев Гумилев.

ПОСЛЕ ТОЧКИ В ПОВЕСТВОВАНИИ

Когда мое повествование дошло до последней строки, когда был написан «Эпилог», я принялся проверять на родных и близких, на друзьях и знакомых верность своих документальных разысканий и полувымышленных из-за недостатка фактических сведений предположений. Первые же читатели «Пятого сна» уверенно убедили меня, что точку ставить рано. Кто же они? Один – мой друг и соратник, китаист, культуролог, философ и мыслитель, он участвовал в поездке на Каспий в 2004 году. Это сын выдающегося писателя Казахстана Мухтара Ауэзова – Мурат Мухтарович Ауэзов. Второй – племянник Мурата и внук великого М. О. Ауэзова – Д. А. Кунаев. Диар Аскарлович – ученый, директор Дома-музея Ауэзова. В обыкновенном товарищеском застолье оба друга взяли меня в оборот: «Что ж ты раньше не сказал? В музейном фонде имеются документы, которые могли быть тебе полезны». Уже на следующий день из архивного хранения я получил письма 1950-х годов за подписью внучки Н. Г. Чернышевского – Н. М. Чернышевской. Нина Михайловна многие годы работала директором Музея-усадыбы Чернышевского в Саратове, она – автор книги «Виллойский узник» и составитель «Летописи жизни

и деятельности Н. Г. Чернышевского».

Привожу выдержки из писем.

Многоуважаемый и дорогой Мухтар Омарханович!

Снова приходится мне беспокоить Вас своей просьбой в связи с печатанием моей книги «Летопись жизни и деятельности Чернышевского». Я давно ищу и не могу найти строго документального – с точным указанием самой даты – источника о знакомстве великого Абая с сочинениями Н. Г. Чернышевского. Может быть, есть прямые указания современников об этом...

Еще глубоко заинтересовало меня указание в «Правде» от 19 ноября 1952 г. (статья «Выше уровень идеологической работы»), что в редакции «Современника» состоялась личная встреча Н. Г. Чернышевского с первым казахским ученым просветителем, выдающимся историком этнографом и лингвистом Чоканом Валихановым. В «Правде» приводятся замечательные строки Валиханова о Чернышевском, заканчивающиеся словами: «Чернышевский – это наш друг». «Правда» пишет это, основываясь на архивных источниках. Я бы очень хотела ввести этот материал в «Летопись» и прошу Вас помочь мне указанием, о каких источниках идет речь, где они хранятся, нельзя ли музею Чернышевского получить их копию.

26 декабря 1952 г.

Дорогой Мухтар Омарханович!

Примите мою искреннюю благодарность за сообщение мне сведений об Абае Кунанбаеве и Чокане Валиханове для моей книги «Летопись жизни и деятельности Н. Г. Чернышевского». Сегодня я получила Ваше письмо и вложенный в него документ о Валиханове, заверенный печатью Института истории, археологии и этнографии Академии наук КССР. Из Вашего письма выделены строки для экспозиции и для опубликования в плакате о Н. Г. Чернышевском, издаваемом в Москве гос. издательством «Искусство». Правда, как хорошо у Вас сказано, что Вы навеки сроднились с Чернышевским через своего любимого героя. По самому жизненному пути Абая можно особенно ясно видеть, что кровные родственные связи еще далеко не все, самое главное, связь идейная.

12 января 1953 года.

Эти два письма с искренней благодарностью отправлены с перерывом более года. По содержанию можно догадаться, что Н. М. Чернышевская отвечает на послания М. О. Ауэзова. Значит, где-то они должны существовать. В музее Ауэзова их не оказалось. Мы обратились в музей Н. Г. Чернышевского, объяснили, что без отправленного архивного документа и письма Мухтара Омархановича такого ответа не могло быть. Сколько доброжелательства и понимания обрели мы в сотрудниках саратовского музея, сразу и не расскажешь. В самое короткое время нас оповестили, что поступившее 12 января 1952 года письмо имеется, но по правилам музейного обмена необходимо отношение от руководства музея Ауэзова. Пока исполнялись всевозможные формальности для получения музейного экспоната в сканированном виде, пришло письмо главного хранителя Дома-усадыбы Чернышевского. Оно содержало просьбу прислать в Саратов сканированные письма Нины Михайловны. Много лет назад они, ныне существующие в рукописном единственном экземпляре, отправились в Алма-Ату, точно так же, как письмо Ауэзова – в Саратов.

Когда мы получили нужный документ, нашу законную радость и сравнить было не с чем. Полное торжество успешного архивного поиска!

Читатель, суди сам.

Дорогая Нина Михайловна!

Вы написали о получении книги «Путь Абая», надеюсь, что тогда же Вы получили и мое письмо к Вам. Сейчас, отвечая на Ваши вопросы в связи с Вашей книгой «Летопись», в первую очередь, привожу достоверные данные о Чокане Валиханове... Относительно же влияния русских революционных демократов на всю среду Абая, сошлюсь на высказывание известного исследователя Сибири путешественника-этнографа Потанина Григория Николаевича. У него есть работа названная им «В юрте последнего киргизского царевича...». Здесь описываются семья и быт Чингиза Валиханова – отца Чокана.

Там же, это наиболее существенно для нас с Вами, Потанин вспоминает о киргизе (казахе) Ускенбаеве, который рассказывал содержание романов русских писателей своим сородичам и притом обращался к Белинскому, а порой еще говорил: «Вот что еще сказал русский критик Добролюбов». Цитирую на память, возможны неточности, но упоминание имен Белинского и Добролюбова несомненны. А этот Ускембаев не кто иной, как сын Абая Кунанбаева Абдраш или (Абиш) Ускембаев. Он носил своей фамилией имя его прадеда Ускембая. Между прочим, Абиш – сын Абая описан у меня в романе «Путь Абая», который имеется у Вас на казахском языке. Русский перевод этой книги вышел в Москве в издательстве «Советский писатель» и, к сожалению, еще не дошел до меня. О том, что Абай читал Чернышевского, Добролюбова упоминает первый комментатор и издатель Абая Какитай Исхаков в 1909 году (издание Ил. Бораганского. С-Петербург, 1909). Не датированы у Абая, но отражены в его творчестве взгляды Чернышевского о том, что искусство должно не только воспроизводить, но и выносить приговор уродливым явлениям действительности. Воплощение этих мыслей Чернышевского мы видим во всех стихах Абая, бичующих пороки управителей, баев, биев, мулл и т. д. Желаю новых огромных успехов, достойных Вашему труду признаний и по «Летописи».

Шлю Вам свой сердечный дружеский привет.

Ауэзов (ростись)

Арх. № 5849/373

Получено 12/1-1953 г.

Отвечаю тогда же.

Н. Чернышевская (подпись).

А вот Архивная справка фонда Чокана Валиханова под тем же арх. № 5845/373 Музея Чернышевского.

В 1861 году Чокан Валиханов посетил редакцию «Современника», где встретился и долго разговаривал с Чернышевским. Под непосредственным впечатлением беседы Чокан писал: «Какой замечательный человек этот Чернышевский, и как хорошо он знает жизнь не только русских. Я после беседы с ним окончательно укрепился и в том смысле, что мы без России пропадем, без русских – это без просвещения, в деспотии и темноте, без русских – мы только Азия, и причем другими без нее мы не можем быть.

Чернышевский – это наш друг.

Архив Ленинградской Академии наук 23 фонд Чокана Валиханова.

Копия верна.

*Печать Института истории, археологии,
этнографии Академии наук КССР и подпись.*

Арх. № 5849/373

Поразительно точно написала Нина Михайловна Чернышевская М. О. Ауэзову: «По самому жизненному опыту можно особенно ясно видеть, что кровные связи – еще далеко не все, самое главное – связь идейная».

Это соображение нам в прямую подсказку.

Какие титаны, бесстрашные народные заступники, мудрые мыслители проживали на огромном пространстве Казахстана во второй половине XIX века! Поистине великие люди – мощный интеллектуальный арсенал казахского народа. Славные имена, гордость нации: Чокан Валиханов, Ибрай Алтынсарин, Абай Кунанбаев.. Они все объединены в казахской истории светлой душой Николая Гавриловича Чернышевского, его совестью и неподкупным стремлением к правде. Наши выдающиеся люди тянулись к человеку высокого нравственного подвига.

Достаточно вспомнить судьбу Абая, жившего в земле острогов и тюрем; его соотечественники были унижены тем, что родные степи стали каторжным местом, где мучили ссыльных. Он не смог закрыть глаза на несправедные гонения, за что его самого подвергали преследованиям, в доме Абая бывали и обыски; заодно обыскивали весь аул.

Высокий пример Чернышевского позволял проверить человека на гуманность, побуждал к достойной жизни. Отношение к «вилуйскому каторжнику» показывало, был ли человек честным, искренним и сердечным. Далеко не все выдерживали строгий жизненный экзамен.

Рано повзрослевший Чокан Валиханов – собеседник каторжника Достоевского – приехал в Санкт-Петербург накануне ареста Чернышевского. Дружеское знакомство с Федором Михайловичем помогло Валиханову приобрести необходимый опыт для улучшения народной жизни. Это позволило Чокану Чингизовичу за 30 лет много сделать для казахской и российской культуры, успешно действовать по государственным делам.

Валиханов мог совершить и больше. Помешали трагические события в Аулие-Ата. Влюбленный в Россию, он не мог простить насильственного присоединения южного Казахстана к России. Вслед за Чернышевским Чокан мог бы сказать: «Если бы я знал, что поднятый мною вопрос получит такое разрешение, я предпочел бы потерпеть поражение, чем одержать подобную победу». Валиханов не согласился с царской политикой и подал в отставку. Но поражением этот поступок гордого, независимого человека считать нельзя. Его короткая жизнь, принца по рождению, это – пламенный пример служения народу.

Нечто подобное можно сказать об Ибрае Алтынсарине и Макаше Бекмохамедове, неустанно, вопреки многим препятствиям трудившимся ради народного благосостояния и просвещения. Да, на свете мало избранных, здесь мы говорим о четырех богатырях воли и таланта (Чокан, Абай, Ибрай, Макаш), людях дерзкого духовного подвига, они никого не боялись, упорно проводили в жизнь любовь к народу и день за днем создавали то, что служит соотечественникам по сей день. Эти четыре выдающихся просветителя признавали над собой только Божий суд. И в наши дни действует эта великая сила народного преображения.

НА ПРОЩАНИЕ

«Миг вождеденный настал» – давно задуманное повествование завершено.

И вновь в окне моего кабинета – разноцветная небесная палитра над рожденной в прошлом столетии казахстанской столицей, самым юным столичным градом на земле; дальний горизонт обозначен густо-багровой полосой от края до края степи, и эта убывающая, тускнеющая полоса постепенно погружается в ночную темноту.

Впрочем, разве правильно называть темнотой беспредельное воздушное пространство, над которым распростерлись «азиатских светил мириады»?

Да, можно оставаться безмятежным и спокойным, если на письменном столе лежит многостраничная рукопись.

Замечу кстати, что поспешил сообщить читателю о безмятежности и спокойствии. Александр Сергеевич Пушкин, расставаясь с «Онегиным», написал: «Окончен мой труд многолетний... Что ж непонятная грусть тайно тревожит меня?»

Задумываюсь... Двести лет – это срок, который отделяет наши дни от времени жизни моего героя. Наверное, поэтому меня тревожит хорошо понятная грусть. И не только поэтому...

...Словно воочию, я оказываюсь за большим круглым столом, здесь собрались товарищи по долгому житейскому путешествию. И мне нисколько не мешает то неизбежное обстоятельство, что «иных уж нет, а те далече». И не смущает меня, что всех своих героев вижу отчетливо, будто вчера расстались, и облик вырисовывается с определенностью и ясностью, даже Макаша Бекмохаммедова, героя «Пятого сна», или Николая Гавриловича Чернышевского, и Велимира Хлебникова, с книгами которого не расставался с юных лет. Дорогого мне человека, моего современника Льва Николаевича Гумилева, с которым встречался, разговаривал, слушал лекции, встречаю по утрам и вечерам в сквере при Евразийском национальном университете. Здесь я работаю на кафедре ЮНЕСКО. Нашему университету присвоено имя Гумилева; бронзовый памятник великому ученому – перед университетским фасадом: Лев Николаевич сидит в кресле, и я каждодневно с ним встречаюсь.

За долгие годы сложился радостный ритуал: когда иду на работу или возвращаюсь домой, при любой погоде обнажаю голову и вижу, словно наяву, Льва Николаевича в предпоследней Астраханской археологической экспедиции Государственного Эрмитажа в июле 1962 года, или на кафедре географического факультета Ленинградского университета, или в квартире на Московской улице, дом № 6. Рядом, под № 4, расположен дом, на стене которого мемориальная доска в честь Чернышевского, проживавшего здесь перед арестом. На другой стороне улицы – памятник Достоевскому. Гумилев смеется: «Вот я и дома: между двумя каторжниками». Смех не очень-то и веселый.

Близкие мне люди – поистине рыцари, не уступающие в бескорыстии и благородстве Дон Кихоту, «чьи имена, как раны, на сердце запеклись», – дружески и благожелательно поглядывая на Макаша, чувствуя в нем Правителя и добровольно признавая его старшинство, негромко напевают хором: «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались».

Почему оправдано погружение на двести лет в глубину времен, почему за воображаемым круглым столом по велению авторской воли нашли себе место друзья юности, отправившиеся в начале XXI столетия в путешествие по прикаспийскому маршруту? Да потому, что они инстинктивно осознали неразрывность эпох, знаковую слитность событий. Более того, пусть на титульном листе указано имя одного автора, в действительности, к появлению «Пятого сна» причастны многие.

Именно так происходит в жизни. Автор, подобно пчеле, собирающей мед с сотен цветков, приступая к созданию романа, скульптуры, картины, архитектурного произведения, симфонии, практически в тигле вдохновения не вспоминает о запасе впечатлений, но они есть, они работают. Пусть скрытно, но созидательно. Работают тем сильнее, когда люди собираются с четко обозначенным сверхзаданием, покрупнее школьного размера, с замыслом нечто изменить в современном, столь несовершенном мире.

И оказалось, что в нашем неповторимом, единственном на свете путешествии мы принимали на сохранение пространство духовного богатства – старинные предания и современные убеждения, исторические сведения и теоретические построения. Однако наиболее драгоценное во всем этом постепенно открываемом наследии – необычные, не схожие между собой и все же знаменательно близкие, родственные друг другу характеры. Подробно почувствовать «чекан души» того или иного человека, с которым делишь дым путевого костра, вечернюю трапезу под степными звездами, проникаешься мудростью древних философских учений, грозной и трепетной музыкой гениальных стихов, – можно ли представить более счастливые мгновения?

Сожалеешь, конечно, поскольку «на переключке дружбы многих нет», но за воображаемым столом собрались и те, кто готов немедленно явиться на зов, и те, кого более не дозовешься.

Нам посчастливилось стать поколением, освобожденным от жестокой практики прошлых лет, зато приобщиться к романтическому мировосприятию.

За годы, завершавшие прошедшее столетие и начинавшие столетие нынешнее, сколько раз приходилось переживать покушения на светлое мировоззрение, на молодую веру в лучшее мироустройство. Однако не напрасно давние судьбоносные встречи проходили под призывные гитарные мелодии. Так что пришла пора снять со стены и расчехлить главный инструмент молодых лет, которым владеют многие мои единомышленники, и всем вместе вновь исполнить простой и мудрый гимн нашей необычной и прекрасной юности. Как бы мне хотелось читать страницы «Пятого сна» моим товарищам по прохождению жизненной службы! Но теперь мне суждено жить дальше с чувством вечной неутоленности, вечного желания и обязанности ступень за ступенью построить из воспоминаний и размышлений нечто волшебно-памятное, а неизменным камертоном служит настроение, которое отпечаталось в песне Олега Митяева:

Изгиб гитары желтой ты обнимаешь нежно,
Струна осколком эха пронзит тугую высь,
Качнется купол неба, большой и звездно-снежный,
Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались.

Как отблеск от заката, костер меж сосен пляшет,
Ты что грустишь, бродяга, а ну-ка, улыбнись.
И кто-то очень близкий тебе тихонько скажет:
– Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались.

И все же, с болью в горле мы тех сегодня вспомним,
Чьи имена, как раны, на сердце запеклись,
Мечтами их и песнями мы каждый вдох наполним,
Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались.

